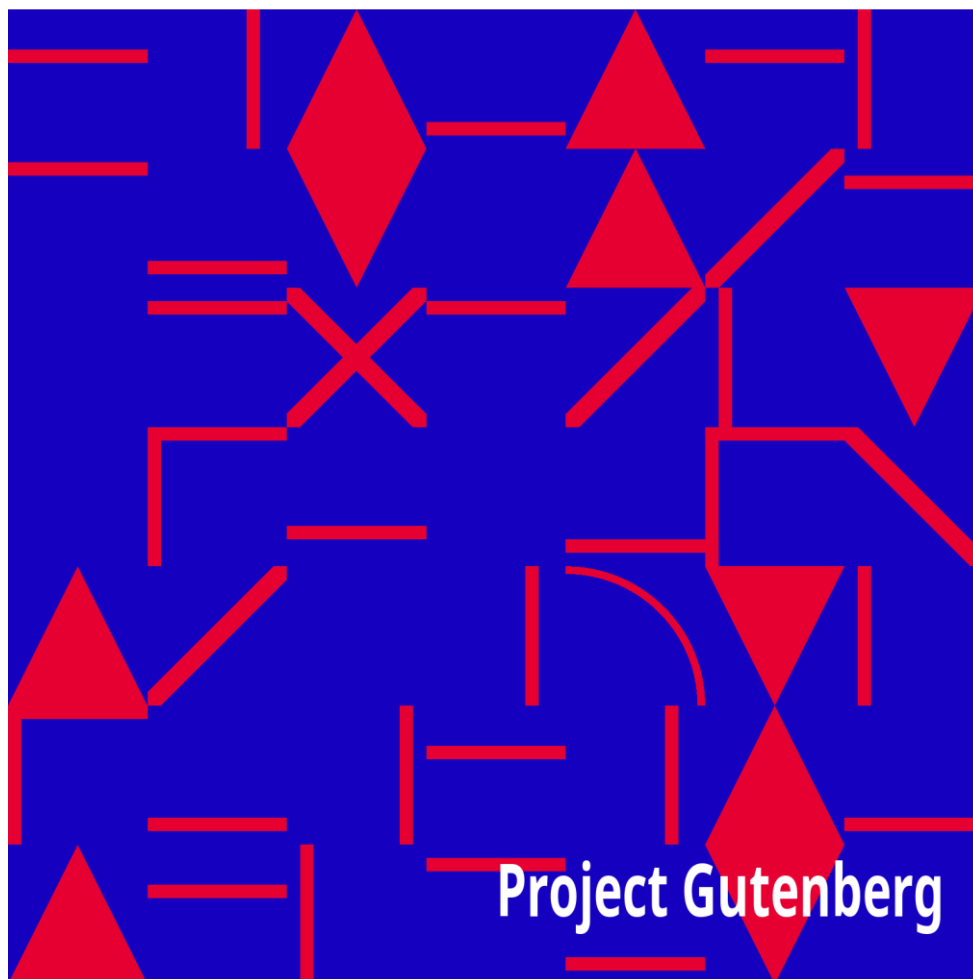


Персонажи и события римской истории

Гульельмо Ферреро

Characters and events of Roman History

Guglielmo Ferrero



Электронная книга проекта Гутенберга о персонажах и событиях римской истории

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Персонажи и события римской истории

Автор: Гульельмо Ферреро

Переводчик: Фрэнсис Лэнс Ферреро

Дата выхода: 17 августа 2004 г. [Электронная книга № 13208]

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсерами выступили Тед Гарвин, С.Р. Эллисон и команда онлайн-корректоров

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ПЕРСОНАЖИ И СОБЫТИЯ РИМСКОЙ ИСТОРИИ" ***

ПЕРСОНАЖИ И СОБЫТИЯ РИМСКОЙ ИСТОРИИ

ОТ ЦЕЗАРЯ ДО НЕРОНА

ЛЕКЦИИ ЛОУЭЛЛА 1908 ГОДА

АВТОР ГУЛЬЕЛЬМО ФЕРРЕРО, ЛИТЕРАТОР

АВТОР КНИГИ "ВЕЛИЧИЕ И УПАДОК РИМА" И ДР.

ПЕРЕВОД ФРЭНСИС ЛЭНС ФЕРРЕРО

[Иллюстрация]

Издательство Chautauqua Press

ШАТОКУА, НЬЮ-ЙОРК

[Авторские права удалены]

Сыновьями Г.П. Патнэма

Пятая печать

Типография в Шатокуа

Чаутокуа, Нью-Йорк

ПРЕДИСЛОВИЕ

Весной 1906 года Коллеж де Франс пригласил меня прочитать в ноябре того же года курс лекций по истории Рима. Я согласился, прочитав в восьми лекциях краткое изложение истории правления Августа от окончания гражданских войн до его смерти; то есть краткое изложение вопроса, содержащегося в четвертом и пятом томах английского издания моего труда *"Величие и упадок Рима"*.

Вслед за этими лекциями поступила просьба от М. Эмилио Митре, редактора главной газеты Аргентинской Республики, *Nación*, и от Академии бразильской литературы из Рио-де-Жанейро прочитать курс лекций в столицах Аргентины и Бразилии. Я придаю южноамериканскому курсу более общий характер, чем тот, что был прочитан в Париже, приведя аргументы, которые могли бы заинтересовать публику, обладающую менее специализированными знаниями истории, чем та публика, к которой я обращался в Париже.

Когда президент Рузвельт оказал мне честь, пригласив посетить Соединенные Штаты, а проф. Эббот Лоуренс Лоуэлл попросил меня прочитать курс в Институте Лоуэлла в Бостоне, я отобрал материал из двух предыдущих курсов лекций, объединив его в группу, которая читалась в Бостоне в ноябре-декабре 1908 года. Позже эти лекции были прочитаны в Колумбийском университете в Нью-Йорке и в Чикагском университете в Чикаго. Некоторые из них были прочитаны в других местах — перед Американским философским обществом и в Пенсильванском университете в Филадельфии, в Гарвардском университете в Кембридже и в Корнельском университете в Итаке.

Таково содержание книги, которая сейчас представлена широкой публике. Эта работа обязательно состоит из отдельных исследований, которые, однако, связаны между собой центральной, объединяющей мыслью; так что чтение их может оказаться полезным и приятным даже тем, кто уже прочел мою книгу *"Величие и упадок Рима"*.

Первая лекция, "Теория коррупции в истории Рима", резюмирует фундаментальную идею моей концепции истории Рима. Существенным явлением, от которого зависят все политические, социальные и моральные кризисы Рима, является трансформация обычаев, вызванная увеличением богатства, расходов и потребностей, — явление, следовательно, психологического порядка, обычное в современной жизни. Эта лекция должна показать, что моя работа не относится к числу тех, которые написаны по методу экономического материализма, поскольку я считаю, что фундаментальная сила в истории психологическая, а не экономическая.

Три следующие лекции, "История и легенда об Антонии и Клеопатре", "Развитие Галлии" и "Нерон", по-видимому, касаются совершенно разных тем. Напротив, они представляют три разных аспекта одной и той же проблемы — борьбы между Западом и Востоком — проблемы, которую Риму удалось решить так, как с тех пор не удавалось ни одной европейской цивилизации, позволив странам Средиземноморского бассейна жить общей жизнью в мире. То, как Риму удалось осуществить этот союз Востока и Запада, является одним из самых интересных моментов в его истории. Первая из этих трех лекций, "Антоний и Клеопатра", показывает, как Рим отразил последнее наступательное движение Востока против Запада; вторая, "Развитие Галлии", показывает установление равновесия между двумя частями Империи; третья, "Нерон", показывает, как Восток, побежденный на полях сражений и в

дипломатических действиях, взял реванш в области римских идей, морали и социальной жизни.

Пятая лекция, "Юлия и Тиберий", иллюстрирует на примере одного из самых трагических эпизодов римской истории ужасную борьбу между римскими идеалами и привычками и таковыми греко-азиатской цивилизации. Шестая лекция, "Развитие империи", на нескольких страницах резюмирует взгляды, которые будут подробно развиты в той части моей работы, которая еще не написана.

Я уже говорил, что не всю историю можно объяснить экономическими силами и факторами, но это не мешает мне рассматривать экономические явления как также имеющие большое значение. Седьмая лекция, "Вино в римской истории", представляет собой эссе по плану, в соответствии с которым, как мне кажется, следует рассматривать экономические явления.

Последняя лекция посвящена теме, которая, возможно, и не относится, собственно говоря, к римской истории, но которой римский историк должен был бы коснуться рано или поздно; я имею в виду роль, которую Рим все еще может играть в образовании высших классов. Это тема, важная не только для историка Рима, но и для всех тех, кто интересуется будущим культуры и цивилизации. Чем больше возрастает специализация в техническом труде, тем острее становится необходимость предоставления высшим классам общего образования, которое могло бы подготовить специалистов к пониманию друг друга и совместным действиям во всех вопросах, представляющих общий интерес. Невозможно представить общество, состоящее исключительно из врачей, инженеров, химиков, торговцев, фабрикантов. Каждый также должен быть гражданином и человеком, сочувствующим общему сознанию. Поэтому я попытался показать в этой восьмой лекции, какие услуги Рим и его великая интеллектуальная традиция могут оказать современной цивилизации в области образования.

Эти лекции, естественно, могут лишь излагать известные идеи в общей форме; было бы чрезмерно ожидать от них точности деталей, соблюдения метода и использования частых примечаний, цитат и ссылок на авторитеты или документы, которые относятся к моей более крупной работе о Риме; но они опубликованы отчасти потому, что я считаю это полезным для популяризации римской истории, а отчасти потому, что с ними связаны самые приятные воспоминания. Их происхождение, курс по Огастесу, прочитанный в Коллеж де Франс, который оказался одним из самых счастливых событий в моей жизни, и их развитие, приведшее к моим путешествиям по двум Америкам, подарили мне опыт, представляющий величайший интерес и удовольствие.

Я рад возможности здесь поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в то, чтобы сделать пребывание моей жены и меня в Соединенных Штатах восхитительным. Я должен поблагодарить сразу всех моих друзей, ибо, чтобы назвать каждого по отдельности, мне понадобилось бы, как сказал один латинский поэт, "сто ртов и сто языков".

GUGLIELMO FERRERO.

ТУРИН, 22 февраля 1909г.

Содержание

"КОРРУПЦИЯ" В ДРЕВНЕМ РИМЕ И ЕЕ АНАЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ	1
ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДА ОБ АНТОНИИ И КЛЕОПАТРЕ	37
РАЗВИТИЕ ГАЛЛИИ	69
НЕРОН	101
ЮЛИЯ И ТИБЕРИЙ	143
ВИНО В ИСТОРИИ РИМА	179
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ..	207
РИМСКАЯ ИСТОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	239
ИНДЕКС	265

"Коррупция" в Древнем Риме и ее аналог в Современной истории

Два года назад в Париже, читая курс лекций об Августе в Коллеж де Франс, я случайно сказал известному историку, члену Французской академии, который сделал мне комплимент: "Но я не переделал римскую историю, как думают многие поклонники. Напротив, в определенном смысле можно было бы сказать, что я всего лишь вернулся к старому образу жизни. Я вновь встал на точку зрения Ливия; подобно Ливию, я собираю события истории Рима вокруг того явления, которое древние называли "разложением" обычаев — новшества двадцативековой давности!"

Сказанные с улыбкой и в шутку, эти слова, тем не менее, были серьезнее, чем тон, которым они были произнесены. Все, кто хотя бы поверхностно знаком с латинской историей и литературой, помнят, с какой настойчивостью и с каким количеством разнообразных модуляций тона повторяются сетования на порочность нравов, на роскошь, честолюбие, алчность, охватившие Рим после Второй Пунической войны. Саллюстий, Цицерон, Ливий, Гораций, Вергилий полны скорби, потому что Риму суждено погрязнуть в неизлечимом разложении; отсюда мы видим, что в Риме, как и сегодня во Франции, богатство, власть, культура, слава влекут за собой - мрачного, но неразлучного товарища! — пессимизм, которого не знали времена более бедные, грубые, беспокойные. В тот самый момент, когда империя приводила себя в порядок, гражданские войны закончились; в том торжественном *Римском мире*, которому предстояло пережить столько веков, в тот самый момент, когда сердце должно было открыться надежде и радости, Гораций описывает в трех прекрасных, ужасных стихах четыре последовательных поколения, каждое из которых разлагало Рим, который становился все хуже, все более извращенным и злобным:

Aetas parentum, peior avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiore.

"Наши отцы были хуже наших дедов; мы деградировали по сравнению с нашими отцами; наши сыновья заставят нас оплакивать". Это мрачная философия, которую такой суверенный дух, как Гораций, извлек из невероятного триумфа Рима в мире. Рядом с ним Ливи, великий писатель, которому предстояло рассказать всем будущим поколениям историю города, кладет ту же безнадежную философию в основу своего замечательного произведения:

Рим изначально, когда он был беден и мал, был уникальным примером суровой добродетели; затем он развратился, он изуродовал, он сам загнил от всех пороков; так мало-помалу мы были доведены до нынешнего состояния, в котором мы не в состоянии ни терпеть зло, от которого мы страдаем, ни средства, необходимые нам для его излечения.

Та же мрачная мысль, выраженная в тысяче форм, встречается почти у каждого латинского писателя.

Эта теория по-разному вводила в заблуждение моих предшественников и препятствовала им: некоторые, считая, что авторы оплакивают неизбежный распад римского общества в то самое время, когда Рим был самым могущественным, самым культурным, самым богатым, сочли условными, риторическими, литературными эти инвективы против коррупции, эти восхваления древней простоты и поэтому сочли их не имеющими ценности в истории Рима. Такие критики не задумывались о том, что эта концепция встречается не только в литературе, но также в политике и законодательстве; что римская история полна не только инвектив в прозе и стихах, но и законов и административных предписаний против *роскоши, честолубия, алчности* — признак того, что эти стенания не были просто глупостью авторов или, как мы говорим сегодня, материалом для газетных статей. Другие критики, вместо этого, принимая во внимание эти законы и административные положения, приняли древнюю теорию римской коррупции, не принимая во внимание, что они описывали как погибшую в результате непоправимого распада нацию, которая не только завоевала, но и должна была управлять на протяжении веков огромной империей. В этой концепции коррупции есть противоречие, за которым скрывается великая универсальная проблема.

Побуждаемый этим противоречием и желанием разрешить его, более внимательно изучить факты, приводимые древними в качестве примеров коррупции, я огляделся, чтобы посмотреть, не смогу ли я найти в современном мире что-нибудь похожее на это, и таким образом заставить себя понять это. Перспектива казалась трудной, потому что современные люди убеждены, что они являются образцами всех добродетелей. Кому могло прийти в голову найти в них хотя бы следы знаменитой римской испорченности? Проводятся ли сегодня в современном мире отвратительные оргии, которыми славился Рим Цезарей? Существуют ли сегодня Нероны и Элагабалусы? Однако тот, кто изучает древние источники лишь с небольшой долей критического настроения, легко убедится, что мы сделали для себя из широко известной коррупции и римской роскоши понятие в высшей степени романтическое и преувеличенное. Нам не нужно обманывать себя: Рим, даже во времена своего величайшего великолепия, был беден по сравнению с современным миром; даже во втором веке после Рождества Христова, когда он стоял как столица во главе огромной империи, Рим был меньше, менее богат, менее внушителен, чем великая столица Европы или Америки. Несколько роскошных общественных зданий, красивые частные дома — вот и все великолеpie столицы империи. Тот, кто отправляется на Палатин, может сегодня представить себе из так называемого Дома Ливий дом богатой римской семьи времен Августа и убедить себя, что состоятельная семья среднего класса вряд ли стала бы занимать такой дом сегодня.

Более того, дворцы цезарей на Палатине представляют собой грандиозные руины, которые будоражат художника и заставляют философа задуматься; но если кто-то задается целью измерить их, угадать по остаткам пропорции всех зданий, он не представляет себе зданий, соперничающих с большими современными постройками. Дворец Тиберия, например, возвышался над улицей шириной всего в два метра — менее семи футов, — переулком, подобным тем, где сегодня в итальянских городах живут только самые несчастные обитатели. Мы представляли себе императорские банкеты древнего Рима как мероприятия неслыханного великолепия; если бы Нерон или Элагабал могли ожить и увидеть столовую большого отеля в Париже или Нью-Йорке — сверкающую светом, хрусталем, серебром, — они бы восхитились ею

как гораздо более прекрасной, чем залы, в которых он давал свои императорские пиры. Подумайте, как бедны были древние в искусственном освещении! У них было мало вин; они не знали ни чая, ни кофе, ни какао; ни табака, ни бесчисленных *ликеров*, которыми мы пользуемся; вопреки нашим привычкам, они всегда вели себя по-спартански, даже когда расточали, потому что у них не было средств разбазаривать.

Древние писатели часто сетовали на всеобщую склонность к физическому потаканию своим желаниям, но среди фактов, которые они приводят в доказательство этого мрачного порока, многие показались бы нам достаточно невинными. Они сочли возмутительным доказательством чревоугодия и бессмысленной роскошью то, что в определенный период из самого Понта стали привозить определенные сосиски и определенную соленую рыбу, которые, как оказалось, были очень вкусными; и что в Италию из Греции было привнесено тонкое искусство откорма домашней птицы. Даже употребление греческих вин долгое время казалось в Риме причудой почти безумной роскоши. Еще в 18 году до нашей эры Август издал закон о роскоши, который запрещал тратить на банкеты в рабочие дни более двухсот сестерциев (десяти долларов); разрешал триста сестерциев (пятнадцать долларов) на дни Календов, Иды и Ноны; и тысячу сестерциев (пятьдесят долларов) на свадебные банкеты. Таким образом, ясно, что владыки мира устраивали государственный банкет за счет средств, которые нам показались бы действительно скромными. И женщины древних времен, которых мужчины так резко обвиняли в том, что они губят себя своей глупой экстравагантностью, были бы жалкой фигурой для элегантной показухи по сравнению с современными модницами. Например, шелк даже в самые процветающие времена считался, так сказать, материалом для миллионеров; его носили лишь немногие очень богатые женщины; и, более того, моралисты ненавидели его, потому что он слишком явно подчеркивал формы тела. Лоллия Паулина вошла в историю, потому что обладала драгоценностями стоимостью в несколько миллионов франков: сегодня Лоллий Паулин слишком много, чтобы кто-то из них мог надеяться купить бессмертие по такой дешевой цене.

Я пришел бы к тем же выводам, если бы мог показать вам, что на самом деле римские авторы подразумевали под коррупцией в своих описаниях отношений между полами. Здесь невозможно провести критический анализ текстов и фактов, касающихся этого материала, по причинам, которые вы легко угадаете; но было бы легко доказать, что и в этом отношении потомки увидели зло гораздо большим, чем оно было на самом деле.

Почему же тогда древние писатели оплакивали роскошь, склонность к удовольствиям, расточительность — все это составляло пресловутую "коррупцию" - гораздо живее, чем это делают современные, хотя они жили в мире, который, будучи беднее и проще, мог развлекаться, выставлять себя напоказ и предаваться разгулу гораздо реже, чем мы? Это один из главных вопросов римской истории, и я льщу себя надеждой, что напрасно потратил время на написание своей книги [1]. Прежде всего, потому что я надеюсь внести небольшой вклад, если не в фактическое решение этого вопроса, то, по крайней мере, в его освещение; потому что, поступая таким образом, я верю, что нашел своего рода ключ, который одновременно открывает многие тайны римской истории и современной жизни. Древние писатели и моралисты так много писали о римской коррупции, потому что — будучи в этом, как и во многом другом, ближе к живой действительности — они понимали, что войны, революции, великие зрелищные события, совершающиеся на глазах у всего мира, не формируют всю жизнь народов; что эти явления, напротив, являются лишь окончательным, внешним объяснением,

внешним излучением или финальным взрывом внутренней силы, которая постоянно действует в семье, в частных привычках, в моральном и интеллектуальном расположении личности. Они понимали, что все изменения, внутренние и внешние, в нации связаны друг с другом и частично зависят от одного очень общего факта, который вечен и универсален, и который каждый может наблюдать, если он только оглянется вокруг — от увеличения потребностей, распространения идей, изменения привычек, распространения роскоши, увеличения расходов, которые вызываются каждым поколением.

[Примечание 1: *Величие и упадок Рима*. 5 томов. Нью-Йорк и Лондон.];

Оглянитесь сегодня вокруг: в каждой семье вы легко можете наблюдать одно и то же явление. Человек родился в определенном социальном положении и за время своей молодости и энергичности преуспел в увеличении своего первоначального состояния. Мало-помалу, по мере того как он богател, его потребности и предметы роскоши увеличивались. Когда была достигнута определенная точка, он остановился. Немногие мужчины могут бесконечно увеличивать свои особые потребности или продолжать изменять своим привычкам на протяжении всей жизни, даже после исчезновения энергии и мужской эластичности. Рост потребностей и роскоши, изменение привычек продолжают, напротив, в новом поколении, в детях, которые начали жить с той легкостью, которую их отцы приобрели после долгих усилий и усталости, и в более зрелом возрасте; короче говоря, они начали с того, на чем остановилось предыдущее поколение, и поэтому желают обрести еще новые удовольствия, отличные от тех, которые они получили без труда благодаря усилиям предыдущего поколения. Это маленькая обычная драма, которую мы видим разыгрывающейся в каждой семье и в которой каждый из нас был и будет действующим лицом - сегодня как молодой радикал, меняющий обычаи, завтра как старый консерватор, устаревший и недовольный в глазах молодежи; драма, мелкая и банальная, на которую никто больше не обращает внимания, настолько она часта и кажется такой несерьезной, но которая, напротив, является одной из величайших движущих сил в истории человечества — в большей или меньшей степени, в разных формах, активной во все времена и действующей повсюду. Из-за этого ни одно поколение не может спокойно жить на накопленные богатства, на идеи, открытые предыдущими поколениями, но вынуждено создавать новые идеи, наживать новые и еще большие богатства всеми имеющимися в его распоряжении средствами — войной и завоеваниями, сельским хозяйством и промышленностью, религией и наукой. Из-за этого семьи, классы, нации, которым не удастся увеличить свое имущество, обречены на обнищание, потому что для их удовлетворения необходимо потреблять накопленный капитал, делать долги и мало-помалу разоряться. Из-за этого честолюбия, постоянно возрождающегося, классы обновляются в каждой нации. Богатые семьи через несколько поколений постепенно обедняют; они распадаются и исчезают, и из многочисленной бедноты возникают новые семьи, создавая новую элиту, которая продолжает в различных формах дела и традиции старых. Из-за этого беспокойства земля всегда взбудоражена жаждой подвигов или приключений — попыток, которые принимают форму в соответствии с эпохой: то народы воюют друг с другом, то они разрывают себя в революциях, то они ищут новые земли, исследуют, завоевывают, эксплуатируют; снова они совершенствуют искусства и промышленность, расширяют торговлю, возделывают землю с большим усердием; и все же снова, в более трудоемкие века, подобные нашему, они делают все это одновременно — деятельность огромная и непрерывная. Но его движущей силой всегда является потребность

новых поколений, которые, начиная с точки, к которой пришли их предшественники, желают продвинуться еще дальше — наслаждаться, знать, обладать еще большим.

Древние писатели прекрасно понимали это: то, что они называли "разложением", было всего лишь изменением обычаев и желаний, происходящим из поколения в поколение и по своей сути таким же, как то, что происходит с нами сегодня. *avaritia*, на которую они так много жаловались, были жадностью и нетерпением делать деньги, которые, как мы видим, сегодня выводят из себя все классы, от дворян до поденщиков; *ambitio*, которое, как казалось древним, так неистово воодушевляло даже те классы, которые должны были быть наиболее невосприимчивы, было тем, что мы называем *достижением цели* - безумным желанием любой ценой подняться до состояния, более высокого, чем то, в котором человек родился, о котором так много писателей, моралистов, государственных деятелей судят, справедливо это или нет, но является одной из самых опасных болезней современного мира. *Luxuria* - это желание увеличить личные удобства, роскошь, удовольствия - та же страсть, которая сегодня волнует Европу и Америку сверху донизу, в городах и деревнях. Без сомнения, богатство росло в Древнем Риме и растет по сей день; люди стремились делать деньги в последние два столетия Республики, и сегодня они с головой бросаются в безумную борьбу за золото; однако причины и побуждения, а также оружие и амуниция у них самые разные.

Как я уже говорил, древняя цивилизация была более узкой, бедной и невежественной; она не держала под своей победоносной ногой всю землю; она не обладала грозными орудиями, с помощью которых мы эксплуатируем силы и ресурсы природы; но сокровища драгоценных металлов, перевезенные в Италию из завоеванных и покоренных стран; земли, рудники, леса, принадлежащие таким странам, конфискованные Римом и отданные в аренду итальянцам; дань, взимаемая с побежденных, и их сбор; изобилие рабов — все это затем предлагалось римлянам и завоевателям. у итальянцев так много возможностей быстро разбогатеть; точно так же гигантский экономический прогресс современного мира предоставляет аналогичные возможности сегодня всем народам, которые в силу географического положения, исторических традиций или мощной культуры и врожденной энергии знают, как преуспеть в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Особенно начиная со Второй Пунической войны, во всех классах последовали поколения, стремящиеся к более богатой и блестящей жизни, которые все больше стремились следовать примерам, исходившим от великих метрополий Востока, особенно Александрии, которая была для римлян времен Республики тем, чем Париж является для нас сегодня. Это движение, спонтанное, регулярное, естественное, время от времени резко ускорялось завоеванием великого восточного государства. После каждой из великих аннексий восточных земель наблюдается все более интенсивный бред роскоши и удовольствий: в первый раз, после приобретения Пергамского царства, благодаря своего рода заражению, переданному роскошной мебелью царя Атталы, которая была продана с аукциона и разбросана по богатым домам Италии, чтобы возбудить все еще простые желания и вялое воображение итальянцев; во второй раз, после завоевания Понта и Сирии Лукуллом и Помпеем; наконец, в третий раз, после завоевания Понта и Сирии Лукуллом и Помпеем. завоевание Египта Августом, когда влияние этой страны — Франции древнего мира — так активно вторглось в Италию, что ни одна общественная сила больше не могла этому сопротивляться.

Таким образом, частично в результате естественного, постепенного, почти незаметного распространения, частично в результате жестоких кризисов, мы видим, как мания роскоши и

аппетит к удовольствиям зарождаются, растут, обостряются из поколения в поколение во всем римском обществе на протяжении двух столетий, изменяя менталитет и мораль людей; мы видим, как меняются институты и государственная политика; вся римская история развивается под действием этой силы, грозной и присущей всей нации. Она разрушает все стоящие перед ней препятствия — силы традиций, законов, институтов, интересы классов, противостояние партий, усилия мыслящих людей. Историческая аристократия становится бедной и слабой; прежде чем она придет к власти, миллионеры, *парвенью*, крупные капиталисты, обогатившиеся в провинциях. Часть дворянства, после долгого презрения к ним, стремится к братанию с ними, жениться на их богатых дочерях, заставить их разделить власть; стремится поддержать своими миллионами превосходство своего собственного ранга, которому угрожают недовольство, дух бунта, растущая гордыня среднего класса. Тем временем другая часть аристократии, либо слишком надменная и амбициозная, либо слишком бедная, презирает этот союз, ставит себя во главе демократической партии, разжигает в средних классах дух антагонизма против знати и богатых, ведет их на штурм цитаделей аристократической и демократической власти. Отсюда безумная внутренняя борьба, которая обагрят Рим кровью и так трагически осложняет, особенно после Гракхов, внешнее государственное устройство. Растущие нужды представителей всех классов, долги, являющиеся их неизбежным следствием, всеобщая тоска, частично неудовлетворенная из-за нехватки средств, по удовольствиям утонченной азиатской цивилизации, привнесли во всю эту историю демоническое безумие, которое сегодня, по прошествии стольких веков, очаровывает и ужасает нас.

Чтобы удовлетворить свои потребности, расплатиться по долгам, классы теперь нападают друг на друга, каждый по очереди отнимает имущество у другого в самой жестокой гражданской войне, какую только знает история; теперь, устав творить самим себе зло, они объединяются и устремляются в мир за пределами Италии, чтобы разграбить богатства, которые их владельцы не знают, как защитить. В великих революциях Мария и Суллы демократическая партия была инструментом, с помощью которого часть обремененных долгами средних классов стремилась реабилитироваться, грабя плутократию и еще богатую аристократию; но Сулла меняет ситуацию вспять, создает коалицию аристократов и обездоленных слоев населения и восстанавливает состояние знати, разоряя богатых рыцарей и часть средних классов - ужасная гражданская война, которая оставляет в Италии ненависть, уныние, бедствие, которые в определенный момент кажутся они должны вечно давить на дух несчастной нации. Когда, о чудо! появляется сильнейший человек в истории Рима, Лукулл, и вытаскивает Италию из уныния, в котором она пребывала, ведет ее по мирским путям и убеждает, что лучшее средство забыть о потерях и разорении, понесенных в гражданских войнах, - это восстановить свои силы за счет богатств трусливых жителей Востока. По мере того как мало-помалу сокровища Митридата, завоеванные Лукуллом на Востоке, прибывают в Италию, Италия снова начинает развлекаться, строить дворцы и виллы, расточать деньги в роскоши. Помпей, завидуя славе Лукулла, следует его примеру, завоевывает Сирию, отправляет новые сокровища в Италию, привозит с Востока драгоценности Митридата и выставляет их в храме Юпитера, пробуждая страсть к драгоценностям у римских женщин; он также строит первый в Риме большой каменный театр. Все политические деятели Рима пытаются делать деньги на чужбине: те, кто не может, подобно великим, завоевать империю, ограничиваются шантажом стран и мелких государств, которые трепещут перед тенью Рима; дворы второстепенных царей Востока, двор Птолемея в Александрии — все захвачено ордой ненасытных сенаторов и рыцарей, которые, угрожая и обещая, вымогают деньги, чтобы потратить их в Италии, и разжигают растущую

расточительность. Долги накапливаются, политическая коррупция разрастается, следуют скандалы, партии в Риме бешено рвут друг друга, хотя в провинциях хорошо встречают единомышленников, грабящих подданных и вассалов. Посреди этого огромного беспорядка восстает Цезарь, человек судьбы, и с переменным успехом прокладывает себе путь, пока не призвет Италию последовать за ним, чтобы найти успех и сокровища в новых регионах — не на богатом и сказочном Востоке, а за Альпами, в варварской Галлии, кишашей воинами и лесами.

Но эти безумные попытки захватить все части империи в конце концов утомляют Италию; ссоры из-за раздела добычи озлобляют друзей; масштабы завоеваний, достигнутых за несколько лет безрассудного энтузиазма, вызывают тревогу. Наконец, вспыхивает новая гражданская война, ужасная и нескончаемая, в ходе которой классы и семьи снова нападают друг на друга, чтобы по очереди отнять добычу, собранную за границей. Из огромного раздора восстает, наконец, умиротворитель Август, который способен постепенно, благодаря уму и бесконечному терпению, восстановить мир и порядок в неспокойной империи. Как?—почему? Потому что сочетание событий того времени позволяет ему использовать в мирных целях те же силы, с помощью которых предыдущие поколения сеяли столько беспорядка — стремление к легкости, удовольствиям, культуре, богатству, растущему вместе с поколениями, создающими его. Вслед за этим во всей Империи начинается всеобщий прогресс в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, который в небольших масштабах можно сравнить с тем, что мы наблюдаем сегодня и разделяем с нами; прогресс, для которого тогда, как и сейчас, главным условием был мир. Как только люди поняли, что мир дает то большее богатство, те более утонченные наслаждения, ту более высокую культуру, которых в течение столетия они добивались войной, в Италии воцарилось спокойствие; революционеры стали стражами порядка; вокруг Августа собралась коалиция социальных сил, которые стремились навязать Империи, как тем, кто этого хотел, так и тем, кто этого не хотел, *Римский мир*.

Теперь всю эту огромную историю, которая занимает три столетия, которая собирает в себе столько революций, столько законодательных реформ, столько великих людей, столько событий, трагических и славных, эту обширную историю, которая на протяжении столетий привлекает интерес всех культурных наций и которая, рассматриваемая в целом, кажется почти чудом, вы можете, следуя старой идее "коррупции", объяснить в ее глубочайших истоках одним маленьким фактом, универсальным, распространенным, самым простым — тем, что каждый может наблюдать в ограниченном кругу своего личного опыта, — одним маленьким фактом. тот автоматический рост амбиций и желаний с каждым новым поколением, который препятствует кристаллизации человеческого мира в одной форме, вынуждает его постоянно меняться как в материальном облике, так и в идеалах и моральном облике. Другими словами, каждое новое поколение, чтобы удовлетворить ту часть своих устремлений, которая является исключительно его собственной, должно так или иначе изменить, мало или сильно, условия мира, в который оно попало при рождении. Тогда мы сможем на нашем личном опыте каждый день проверять универсальный закон истории — закон, который может действовать с большей или меньшей интенсивностью, с большей или меньшей скоростью, в зависимости от времени и места, но который никогда и нигде не перестает быть достоверным.

Соединенные Штаты подчиняются этому закону сегодня, как и старая Европа, как будут подчиняться будущие поколения и как это было в прошлые века. Более того, чтобы понять в глубине души это явление, которое представляется мне душой всей истории, хорошо бы добавить следующее соображение: очевидно, что существует существенная разница между

нашим суждением об этом явлении и суждением древних; для них это была зловещая сила разложения, которой следует приписывать все зловещее и ужасное в римской истории, верный признак неизлечимого упадка; вот почему они называли это "разложением обычаев" и так сокрушались по этому поводу. Сегодня, напротив, это представляется нам универсальным благотворным процессом трансформации; это настолько верно, что мы называем "прогрессом" многие факты, которые древние приписывали "разложению". Было бы бесполезно слишком подробно останавливаться на примерах; достаточно привести несколько. В третьей оде первой книги, в которой он так нежно приветствует уходящего Вергилия, Гораций осыпает бранью, как злодея и растлителя рода человеческого, то нечестивое существо, которое изобрело корабль, который заставляет человека, созданного для суши, ходить по водам. Кто сегодня осмелился бы повторить эти проклятия в адрес смелых строителей, сооружающих великолепные трансатлантические лайнеры, на которых в дюжине дней пути от Генуи можно приземлиться в Бостоне или Нью-Йорке? "*Coelum ipsum petimus stultitia*", — восклицает Гораций, то есть в предвкушении он счел братьев Райт сумасшедшими.

Кто, кроме какого-нибудь эрудированного человека, обладает сегодня знаниями о законах роскоши? Мы бы подняли их всех на смех одним гомерическим хохотом, если бы сегодня кому-нибудь пришло в голову предложить закон, запрещающий прекрасным дамам тратить на свою одежду больше определенной суммы или пронумеровать шляпы, которые они могут носить; или который регламентировал бы торжественные обеды, устанавливая количество блюд, сорт вин и общие расходы; или который запрещал работающим мужчинам и женщинам носить определенные ткани или предметы, которые обычно можно было найти только на лицах людей богатых и праздных. И все же законы такого рода были составлены, опубликованы, соблюдались вплоть до двух столетий назад, и никто не счел это абсурдным. Историческая сила, которая по мере увеличения богатства побуждает новые поколения желать новых удовольствий, действовала тогда так же, как и сегодня; только тогда люди были склонны рассматривать это как новый вид зловещей болезни, нуждающейся в сдерживании. Современные люди считают это постоянное преобразование либо благотворным, либо, по крайней мере, настолько само собой разумеющимся, что почти никто не обращает на него внимания; точно так же, как никто не замечает смены дня и ночи или времен года. Напротив, мы мало-помалу стали настолько уверены в доброте этой силы, которая ведет грядущее поколение вперед, в неизвестное будущее, что общество, европейское, американское, среди прочих свобод, полностью завоевало в девятнадцатом веке свободу, которой не знали древние, — свободу порока.

Римлянам казалось совершенно естественным, что государство должно изучать частные привычки, должно следить за тем, что гражданин, особенно гражданин, принадлежащий к правящим классам, делал в домашних стенах — должно видеть, не пьянел ли он, был ли он гурманом, не влезал ли в долги, много тратил или мало, изменял ли своей жене. Эпоха Августа была культурной, цивилизованной, либеральной и во многом напоминала нашу; однако в этом пункте господствовавшие идеи настолько отличались от наших, что в свое время общественное мнение вынудило Августа предложить закон о супружеской неверности, по которому все римские граждане обоего пола, виновные в этом преступлении, приговаривались к изгнанию и конфискации половины их состояния, и каждому гражданину предоставлялось право обвинить виновного. Могли бы вы представить себе, что возможно сегодня, хотя бы на несколько недель, установить этот режим террора в королевстве Любви? Но древние всегда были склонны считать чрезвычайно опасным для высших классов то ослабление нравов, которое всегда следует за

периодами быстрого обогащения, больших выгод в комфорте; сегодня за своими собственными стенами каждый волен потакать себе, как ему заблагорассудится, вплоть до преступлений.

Как мы можем объяснить это важное различие в оценке одного из существенных явлений исторической жизни? Изменило ли это явление природу и из плохого каким-то чудом превратилось в хорошее? Или мы мудрее наших предков, раз на собственном опыте судим о том, чего они едва ли могли постичь? Нет сомнения, что латинские писатели, особенно Гораций и Ливий, были так суровы в осуждении этого прогрессирующего движения потребностей из-за бессознательной политической озабоченности, потому что интеллектуалы выражали мнения, чувства, а также предрассудки исторической аристократии, и это вызывало отвращение к прогрессу *ambitio, avaritia, luxuria*, потому что они подрывали господство ее класса. С другой стороны, несомненно, что в современном мире любое увеличение потребления, каждое расточительство, каждый порок кажутся допустимыми, даже почти похвальными, потому что промышленники и торговцы, работники промышленности — то есть все люди, которые выигрывают от распространения предметов роскоши, от распространения пороков или новых потребностей — приобрели, прежде всего благодаря демократическим институтам и прогрессу городов, огромную политическую власть, которой в прошлые времена им недоставало. Если бы, например, в Европе производители пива и дистилляции алкоголя не были более влиятельны на электоральном поле, чем философы и академики, правительствам было бы легче признать, что массам нельзя позволять отравлять себя или будущие поколения хроническим пьянством.

Между этими двумя крайностями преувеличения, вдохновленными легко обнаруживаемым личным интересом, нет ли истинного среднего пути, который мы можем вывести из изучения римской истории и наблюдения за современной жизнью?

В пессимизме, с которым древние рассматривали прогресс как порочность, была доля истины, точно так же, как в слишком безмятежном оптимизме, с которым мы рассматриваем порочность как прогресс, есть принцип ошибки. Эта сила, которая толкает новые поколения в будущее, одновременно созидает и разрушает; ее разрушительная энергия особенно ощущается в такие эпохи, как эпоха Цезаря в Древнем Риме и наша в современном мире, когда легкость в накоплении богатства чрезмерно возбуждает желания и амбиции во всех классах. Это времена, когда личный эгоизм — то, что сегодня мы называем индивидуализмом, — узурпирует место превыше всего, что представляет в обществе интересы вида: национальный долг, самоотречение каждого ради общего блага. Затем эти пороки и дефекты становятся все более распространенными: интеллектуальное возбуждение, ослабление духа традиции, общее ослабление дисциплины, потеря авторитета, этическая путаница и беспорядок. В то же время, когда определенные моральные чувства совершенствуются, определенный индивидуализм становится все более ожесточенным. Правительство может больше не представлять идеи, чаяния, энергичную волю маленькой олигархии; оно должно стать более уступчивым и милосердным, в то же время становясь все более противоречивым и диссонирующим. Семейная дисциплина ослаблена; новые поколения рано избавляются от влияния прошлого; чувство чести и строгость моральных, религиозных и политических принципов ослаблены духом полезности и целесообразности, с помощью которого, более или менее открыто, исповедуя это или притворяясь, люди всегда стремятся делать не то, что правильно и пристойно, а то, что утилитарно. Гражданский дух имеет тенденцию к угасанию; число людей, способных страдать или даже работать бескорыстно ради общего блага, ради будущего, уменьшается; дети никому не нужны; люди предпочитают жить в согласии с теми, кто у власти, игнорируя их пороки, а не

открыто противостоять им. Публичные мероприятия не представляют интереса, если только они не содержат личной выгоды.

Это состояние ума, которое сейчас распространяется по всей Европе; то же самое состояние ума, которое, имея под рукой документы, я обнаружил в эпоху Цезаря и Августа и которое, как я видел, постепенно распространяется по всей древней Италии. Сходство настолько велико, что мы вновь обнаруживаем в те далекие времена, особенно в высших классах, именно то беспокойное состояние, которое мы определяем словом "нервозность". Гораций говорит об этом состоянии ума, которое мы считаем свойственным только нам, и описывает его удачным образом как *strenua inertion* — напряженная инертность, — тщетное и неэффективное возбуждение, всегда желающее чего-то нового, но на самом деле не знающее чего, страстно желающее, но быстро утомляющееся от удовлетворенного желания. Теперь ясно, что если эти пороки распространятся слишком широко, если они не будут дополнены увеличением материальных ресурсов, знаний, достаточного населения, они могут быстро привести нацию к гибели. Мы не очень остро ощущаем страх перед этой опасностью — европейско-американская цивилизация настолько богата, имеет в своем распоряжении так много знаний, так много людей, так много инструментов, отрезала для себя такую неизмеримую часть земного шара, что может позволить себе без страха смотреть в будущее. Бездна так далека, что лишь немногие философы едва различают ее в сером тумане далеких лет. Но древний мир — гораздо более бедный, маленький, слабый — чувствовал, что не может растрачивать деньги так, как это делаем мы, и видел близкую пропасть.

Современные мужчины и женщины растрачивают баснословные богатства на роскошь; то есть они тратят не для удовлетворения каких-то разумных потребностей, а для того, чтобы показать другим себе подобным, насколько они богаты, или, более того, заставить других поверить, что они богаче, чем они есть на самом деле. Если бы эти ресурсы повсеместно экономились, как это происходит во Франции, мировой прогресс шел бы быстрее, и новым странам было бы легче находить в Европе и внутри себя капитал, необходимый для их развития. Во всяком случае, наш век развивается быстро и, несмотря на все эти расточительства, изобилует таким изобилием, которого вполне достаточно, чтобы удержать людей от страха перед ростом этой бессмысленной роскоши и от планов ограничить ее законами. С другой стороны, в древнем мире богатым классам и государству стоило только чересчур предаться расточительности, которая для нас стала почти обычным делом, как вдруг у них не хватало средств для удовлетворения самых насущных потребностей общественной жизни. Тацит кратко изложил интересную речь Тиберия, в которой знаменитый император холодно, язвительно и лаконично порицает римских дам за то, что они тратят слишком много денег на жемчуга и бриллианты. "Наши деньги, - сказал Тиберий, - уходят в Индию, а нам не хватает драгоценных металлов для продолжения военной администрации; мы должны отказаться от защиты границ". По мнению такого проницательного администратора и такого доблестного полководца, как Тиберий, в самый богатый период Римской империи римская дама не могла покупать жемчуга и бриллианты без непосредственного ослабления защиты границ. Увлечение роскошью драгоценностей выглядело почти как государственная измена.

Аналогичные наблюдения можно было бы сделать и по другому серьезному вопросу — увеличению численности населения. Одним из наиболее серьезных последствий индивидуализма, сопровождающего рост цивилизации и богатства, является снижение рождаемости. Франция, которая умеет умерять свою роскошь, которая дает другим народам

пример сбережения средств на будущее, с другой стороны, подала пример эгоизма в семье, снижающего рождаемость. Англия, долгое время столь плодородная, похоже, следует примеру Франции. Более равномерно заселенные и зажиточные части Североамериканского союза, Восточные Штаты и Новая Англия, еще более стерильны, чем Франция. Однако сегодня ни одна из этих стран не страдает от небольшого прироста населения; тем не менее, бедных и плодovitых народов так много, что они могут легко восполнить пробелы. В древнем мире это было не так; население всегда и везде было настолько мизерным, что, если по какой-то причине оно уменьшалось хотя бы незначительно, государства не могли жить дальше, оказываясь во власти того, что они называли "человеческим голодом", болезнью более серьезной и беспокойной, чем перенаселение. В Римской империи западные провинции в конце концов перешли в руки варваров, главным образом потому, что греко-латинская цивилизация стерилизовала семью, неизлечимо сократив население. Неудивительно, что древние применяли термин "разложение" к импульсу желаний, который, хотя и повышал культуру и утончал жизнь, легко ставил под угрозу источники физического существования нации.

Таким образом, из этого опыта можно сделать более общий вывод. Не случайно и не по необъяснимому капризу нескольких древних авторов мы располагаем таким количеством мелких фактов о развитии роскоши и преобразовании обычаев в Древнем Риме; например, среди записей о великих войнах, дипломатических миссиях, политических и экономических катастрофах мы находим дату, когда искусство откармливания домашней птицы было завезено в Италию. Эти незначительные факты не так уж недостойны величия римской истории, как может показаться на первый взгляд. В жизни нации все взаимосвязано, и нет ничего неважного; самые скромные поступки, самые личные и глубочайшие, скрытые *в проникновениях* в дом, которые никто не видит, никто не знает, оказывают влияние, непосредственное или отдаленное, на общую жизнь нации. Между этими мелкими, незначительными фактами и войнами, революциями, грандиозными политическими и социальными событиями, которые ставят людей в тупик, существует связь, часто невидимая для большинства людей, но, тем не менее, нерушимая.

Ничто в мире не лишено значения: то, что женщины тратят на свой туалет, сопротивление, которое мужчины изо дня в день оказывают искушениям самых обычных удовольствий, новые и мелкие потребности, которые бессознательно проникают в привычки каждого; чтение, беседы, впечатления, даже самые мимолетные, которые проходят в нашей душе, — все эти вещи, маленькие и бесчисленные, которые не регистрирует ни один историк, способствовали возникновению этой революции, этой войны, этой катастрофы, этого политического переворота, которым мужчины удивляются и изучают как чудо.

Причины скольких, казалось бы, загадочных исторических событий были бы известны более ясно и глубоко, дух скольких периодов был бы лучше понят, если бы у нас были только личные записи семей, составляющих правящие классы! Каждое действие, которое мы совершаем в домашней обстановке, воздействует на все наше окружение. Каждым своим поступком мы берем на себя ответственность перед нацией и потомством, санкция на которые, близкая или далекая, содержится в событиях. Это оправдывает, по крайней мере частично, древнюю концепцию, согласно которой государство имело право проявлять бдительность по отношению к своим гражданам, их частным поступкам, обычаям, удовольствиям, порокам, прихотям. Эта бдительность, законы, которые ее регулировали, моральные и политические учения, которые оказывали давление на применение этих законов, имели тенденцию прежде всего возлагать на

отдельного человека социальную ответственность за его отдельные действия; напоминать ему, что в самых личных вещах, помимо индивидуальной боли или удовольствия, есть общий интерес, добро или зло.

Современные люди — и это революция более масштабная, чем та, что завершилась в политической форме в девятнадцатом веке, — были освобождены от этих уз, от этих обязательств. Действительно, современная цивилизация сделала долгом каждого тратить, наслаждаться, растрачивать впустую столько, сколько он может, без каких-либо тревожащих мыслей о конечных последствиях того, что он делает. Мир так богат, население растет так быстро, цивилизация вооружена таким количеством знаний в своей борьбе с варварами и с природой, что сегодня мы можем смеяться над робкой осмотрительностью наших предков, которые, так сказать, боялись богатства, удовольствий, любви; мы можем гордиться триумфом, что мы первые, кто осмеливается посреди завоеванного мира наслаждаться — наслаждаться без стеснения, без ограничений — всеми благами, которые жизнь предлагает сильным.

Но кто знает? Возможно, этот счастливый момент не будет длиться вечно; возможно, однажды люди, которых станет больше, почувствуют необходимость в древней мудрости и благоразумии. По крайней мере, философу и историку позволено спросить, подходит ли эта великолепная, но необузданная свобода, которой мы наслаждаемся, для всех времен, а не только для тех, в которые зарождающиеся нации могут найти небольшое приданое в своей колыбели, как это сделали вы, — три миллиона квадратных миль земли!

История и легенда об Антонии и Клеопатре

В истории Рима женские фигуры редки, потому что там доминировали только мужчины, повсюду насаждая грубую силу, грубоватость и эгоизм, лежащие в основе их натуры: они чтили *мать семейства* за то, что она рожала детей и не давала рабам тайком воровать муку из ящика и пить вино из *амфоры*. Они презирали женщину, которая сделала из своей красоты и живости украшение общественной жизни, награду, к которой стремились и оспаривали мужчины. Однако в этой мужественной истории внезапно появляется фигура женщины, странной и чудесной, своего рода живой Венеры. Плутарх так описывает прибытие Клеопатры в Тарс и ее первую встречу с Антонием:

Она спокойно плыла по Киднусу на барке с золотой кормой, с пурпурными парусами и серебряными веслами, и опускание весел было ритмичным под звуки флейт, сливающихся с музыкой лир. Сама она, королева, чудесно одетая, как изображают Венеру, лежала под расшитым золотом навесом. Мальчики, одетые Купидонами, стояли рядом с ней, нежно обмахиваясь веерами, чтобы освежить ее; ее служанки, все красивые и одетые как Наяды или Грации, управляли лодкой, одни у руля, другие у канатов. Оба берега ручья были благоуханны благовониями, исходившими от сосуда.

Потомки до сих пор поражены этим кораблем, сверкающим пурпуром и золотом и мелодичным звучанием флейт и лир. Если мы очарованы описанием Плутарха, нам не кажется странным, что это был Антоний — тот, кто мог не только воочию увидеть эту чудесную Венеру, но и пообедать с ней *тет-а-тет* в неопишемом сиянии факелов. Несомненно, это вполне вероятная обстановка для начала знаменитого романа о любви Антония и Клеопатры, и его развитие столь же вероятно, как и его начало; безумства, совершенные Антонием ради соблазнительной царицы Востока, развод Октавии, война из-за любви к Клеопатре, разгоревшаяся по всей Империи, и

ужасная катастрофа. Разве в последние столетия не видно многих могущественных людей, подвергающих свое величие риску, а иногда и гибели из-за любви к женщине? Разве любовные письма великих государственных деятелей — например, Мирабо и Гамбетты — не допущены к полуофициальной части современной истории? Точно так же Антоний мог любить королеву и, подобно многим современным государственным деятелям, совершать ради нее безумства. Французский критик моей книги "Сжигая за собой корабли" сказал, что Антоний был римлянином Буланже.

Романтика нравится: искусство берет ее в качестве предмета и повторно использует; но это не спасает от жестоких рук критики. Прежде всего, следует отметить, что современные люди чувствуют и интерпретируют роман Антония и Клеопатры совсем не так, как древние. От Шекспира до Де Эредиа и Анри Уссе художники и историки с сочувствием, даже почти идеализированно, описывали эту страсть, которая молниеносно отбрасывает все человеческое величие, — стремление завладеть мантией убегающей женщины; они находят в безумствах Антония что-то глубоко человеческое, что трогает их, очаровывает и делает снисходительными. Для древних, напротив, *амуры* Антония и Клеопатры были всего лишь постыдным вырождением страсти. У них нет оправдания мужчине, которого любовь к женщине вынудила дезертировать в бою, бросить солдат, друзей, родственников, устроить заговор против величия Рима.

То же самое различие в интерпретации повторяется и в истории *амуров* Цезаря. Современные авторы рассматривают то, что древние рассказывают нам о многочисленных любовях — реальных или воображаемых — Цезаря, как почти новый лавр, которым можно украсить его фигуру. Напротив, древние рассказывали и распространяли повсюду, а возможно, отчасти и выдумывали, эти истории о доблести по совершенно противоположным причинам — как источник бесчестия, чтобы дискредитировать его, продемонстрировать, что цезарь был женоподобен, что он не мог гарантировать, что знает, как руководить армиями и выполнять мужественные и трудные обязанности, которые ожидали каждого выдающегося римлянина. В нашем образе мышления есть жилка романтизма, которой не хватало древнему уму. Мы видим в любви определенное забвение самих себя, определенную слепоту к эгоизму и более материальным страстям, своего рода силу самоотречения, которая, поскольку она бессознательна, придает определенное благородство и достоинство; поэтому мы снисходительны к ошибкам и безумствам, совершаемым ради страсти, в то время как древние были очень суровы. Мы с некоторым состраданием прощаем человека, который из любви к женщине без колебаний похоронил себя под обломками собственного величия; древние, напротив, считали его самым опасным и презренным из безумцев.

Критика не удовлетворилась тем, что вновь придала древнему роману то значение, которое он имел для тех, кто его создал, и для публики, которая впервые его прочитала. Археологи обнаружили на монетах портреты Клеопатры, и теперь критики сопоставили эти портреты с поэтическими описаниями, данными римскими историками, и сочли описания весьма причудливыми: на портретах мы не видим лика Венеры, нежного, грациозного, улыбающегося, и даже тонкой и чувственной красоты маркизы де Помпадур, но лицо мясистое и, как сказали бы французы, *начесанное*; нос с сильной орлиной горбинкой; лицо женщины в годах, амбициозное, властное, напоминающее лицо Марии де Помпадур. Тереза. Скажут, что суждения о красоте носят личный характер; что Антоний, видевший ее живой, мог бы решить лучше, чем мы, видящие ее портреты, наполовину стертые веками; что притягательная сила

женщины исходит не только от телесной красоты, но также — и даже больше — от ее духа. Вкус Клеопатры, ее живость, ее ум, ее изысканное искусство вести беседу превозносятся всеми.

Возможно, однако, Клеопатра, красивая или уродливая, не имеет большого значения; когда изучаешь историю ее отношений с Антонием, в ней остается мало места, и то лишь ближе к концу, любовной страсти. Мне будет легко убедить вас в этом, если вы будете следовать простому хронологическому изложению фактов, которое я вам приведу. Антоний знакомится с Клеопатрой в Тарсе ближе к концу 41 года до н.э., проводит с ней зиму 41-40 годов в Александрии; покидает ее весной 40 года и держится вдали от нее более трех лет, до осени 37 года. Нет никаких доказательств того, что в это время Антоний вздыхал по египетской царице как по далекой возлюбленной; напротив, он с готовностью, достойной похвалы, занимается подготовкой завоевания Персии, приведением в исполнение великого замысла, задуманного цезарем, плана войны, на который Антоний наткнулся в бумагах диктатора вечером пятнадцатого марта 44 года до н.э. Весь социальный и политический порядок, армия, государство, общественные финансы, частное и общественное богатство рушатся вокруг него. Власть триумvirата, построенная на ненадежном фундаменте этих руин, шатается; Антоний понимает, что только большой внешний успех может дать ему и его партии авторитет и деньги, необходимые для создания прочного правительства, и решает вступить во владение политическим наследием своего учителя и покровителя, взяв на вооружение его центральную идею - завоевание Персии.

Трудности серьезны. Нехватка не солдат, а денег. Революция разрушила Империю и Италию; все резервные фонды были растрочены; финансы государства находятся в таком тяжелом положении, что даже солдатам не могут вовремя выплачивать зарплату, и легионы время от времени требуют уплаты своих взносов путем восстаний. Антоний не унывает. Историки, как бы враждебно они к нему ни относились, описывают его как чрезвычайно занятого в те четыре года, извлекавшего из всех частей Империи ту часть денег, которая все еще была в обращении. Затем одним махом, во второй половине 37 года, когда приготовления закончены и пришло время приступить к казни, древние историки, никоим образом не объяснив нам этот внезапный поступок, в высшей степени непредвиденный, заставляют его отправиться в Антиохию на встречу с Клеопатрой, которую он пригласил присоединиться к нему. По какой причине Антоний спустя три года ни с того ни с сего вновь присоединяется к Клеопатре? Секрет истории Антония и Клеопатры целиком кроется в этом вопросе.

Плутарх говорит, что Антоний отправился в Антиохию, ведомый пламенным и неукротимым стремлением своего собственного духа; другими словами, потому что страсть уже начала заставлять его терять здравый смысл. Не найдя других объяснений у древних авторов, потомки приняли это, что было достаточно просто; но около столетия назад эрудированный француз Летронн, изучив определенные монеты и сравнив с ними некоторые отрывки древних историков, до тех пор остававшиеся неясными, смог продемонстрировать, что в 36 году до нашей эры в Антиохии Антоний женился на Клеопатре со всеми династическими церемониями Египта, и что после этого Антоний стал царем Египта, хотя и не осмелился принять титул.

Объяснение Летронна, основанное на официальных документах и монетах, без сомнения, более достоверно, чем объяснение Плутарха, которое сводится к образной метафоре; и открытие Летронна, завершающее изложенную мной цепочку фактов, окончательно убеждает меня утверждать, что не внезапно пробудившаяся любовная страсть привела Антония во второй

половине 37 года до н.э. в Антиохию для встречи с египетской царицей, а хорошо продуманный политический план. Антонию нужен был Египет, а не прекрасная особа его царицы; он хотел этим династическим браком установить римский протекторат в долине Нила и получить возможность распорядиться сокровищами царства Птолемеев для персидской кампании. В то время, после разграбления других регионов Востока римскими политиками, существовало только одно государство, богатое запасами драгоценных металлов, - Египет. Поскольку экономический кризис Римской империи мало-помалу усугублялся, римскому государству волей-неволей пришлось тяготеть к Египту, как к стране, способной предоставить Риму капитал, необходимый для продолжения его политики во всех частях Империи.

Цезарь уже понимал это; его таинственная и неясная связь с Клеопатрой, безусловно, имела своим конечным мотивом политическую необходимость; и Антоний, женившись на Клеопатре, вероятно, лишь более или менее проницательно применил идеи, зародившиеся у Цезаря в мерцающем сумраке его бурной карьеры. Вы спросите меня, почему Антоний, если ему нужна была долина Нила, прибегнул к этому странному средству женитьбы, вместо того чтобы завоевать царство, и почему Клеопатра решила выйти замуж за триумвира. Ответ не составит труда для того, кто знает историю Рима. В римской политике существовала давняя традиция эксплуатировать Египет, но уважать его независимость; возможно, потому, что страной считалось труднее управлять, чем это было на самом деле, или потому, что к этой древнейшей земле, средоточию всех самых утонченных искусств, самых образованных школ, отборных производств, чрезвычайно богатой и высокоцивилизованной, относились с уважением, которое чем-то напоминает то, что Франция навязывает миру сегодня. Наконец, это может быть связано с тем, что считалось, что в случае аннексии Египта его влияние на Италию было бы слишком сильным, и традиции старой римской жизни были бы окончательно подавлены вторжением обычаев, идей, утонченности — одним словом, развращенностью Египта. Антоний, который был увлечен идеей повторить в Персии авантюру Александра Македонского, не осмелился осуществить аннексию, которая была бы сурово осуждена в Италии и которую он, как и другие, считал более опасной, чем она была на самом деле. С другой стороны, благодаря династическому браку он смог обеспечить себе все преимущества эффективного владения, не подвергаясь риску аннексии; поэтому он решился на эту уловку, которая, повторяю, вероятно, была придумана цезарем. Что касается Клеопатры, то ее правительству угрожала сильная внутренняя оппозиция, причины которой плохо известны; выйдя замуж за Антония, она собрала вокруг своего трона, чтобы защитить его, грозную стражу - римские легионы.

Подводя итог, можно сказать, что роман Антония и Клеопатры представляет собой, по крайней мере в самом начале, политический договор. Этим браком Клеопатра стремится укрепить свою пошатнувшуюся власть; Антоний - поместить долину Нила под римский протекторат. Как же тогда родился знаменитый роман? Реальная история Антония и Клеопатры - один из самых трагических эпизодов борьбы, которая терзала Римскую империю на протяжении четырех столетий, пока окончательно не разрушила ее, борьбы между Востоком и Западом. В эпоху Цезаря мало-помалу, поначалу никто этого не осознавал, возник и осуществился факт величайшей важности, а именно: восточная часть империи выросла непропорционально: сначала в результате завоевания Понта Лукуллом, который добавил огромные территории в Малой Азии; затем в результате завоевания Помпеем Сирии и распространения его протектората на всю Палестину и значительную часть Аравии. Эти новые районы были не только огромными по протяженности; они также были густонаселенными, богатыми, плодородными, прославленными древней культурой; в них находились самые оживленные

промышленные города, наиболее возделанные регионы древнего мира, самые знаменитые центры искусств, литературы, науки, поэтому их аннексия, совершенная быстро, за несколько лет, могла лишь нарушить и без того неустойчивое равновесие Империи. Италия была тогда, по сравнению с этими провинциями, бедной и варварской страной, потому что южная Италия была разорена войнами предшествующих эпох, а северная Италия, естественно, более богатая часть, была еще сырой и находилась в начале своего развития. Другие западные провинции, расположенные ближе к Италии, были беднее и менее цивилизованны, чем Италия, за исключением Нарбоннской Галлии и некоторых частей южной Испании. Так что Рим, столица Империи, оказался вдали от самых богатых и густонаселенных регионов, среди территорий бедных и разоренных, на границах варварства — в такой ситуации, в какой Российская империя могла бы оказаться сегодня, если бы у нее была столица во Владивостоке или Харбине. Вы знаете, что в последние годы жизни Цезаря несколько раз ходили слухи, что диктатор хотел перенести столицу Империи; говорили, что в Александрию в Египте, в Илион в районе, где возникла Троя. Невозможно судить, были ли эти сообщения правдой или просто выдуманы врагами Цезаря, чтобы навредить ему; во всяком случае, правдивые или ложные, они показывают, что общественное мнение начинало беспокоиться о "восточной опасности"; то есть об опасности того, что центр империи должен быть перенесен на Восток и слишком обширные азиатские и африканские территории, и что Италия однажды лишится своего столичного господства, завоеванного столькими войнами. Такие слухи, должно быть, казались если и неправдивыми, то более вероятными, потому что в последние два года своей жизни цезарь планировал завоевание Персии. Естественную основу операций по завоеванию Персии следовало искать не в Италии, а в Малой Азии, и если бы Персия была завоевана, Рим не смог бы управлять империей, столь неизмеримо разросшейся на Востоке. Таким образом, все наводит на мысль, что этот вопрос, по крайней мере, обсуждался в кругу друзей Цезаря; и это был серьезный вопрос, потому что в нем традиции, стремления, интересы Италии находились в непримиримом конфликте с высшей государственной необходимостью, которая рано или поздно проявила бы себя, если бы не вмешалось какое-нибудь непредвиденное событие, чтобы решить его.

В свете этих соображений поведение Антония становится предельно ясным. Брак в Антиохии, посредством которого он ставит Египет под римский протекторат, является решающим актом политики, направленной на перенос центра его правительства на Восток, чтобы иметь возможность более надежно осуществить завоевание Персии. Антоний, наследник цезаря, человек, у которого были бумаги диктатора, который знал его тайные мысли, который желал завершить планы, прерванные его смертью, предлагает завоевать Персию; чтобы завоевать Персию, он должен полагаться на восточные провинции, которые были естественной основой операций для великого предприятия; среди них Антоний должен опираться прежде всего на Египет, самый богатый и цивилизованный, способный обеспечить его необходимыми средствами, в которых он испытывал острую нужду. Поэтому он женился на Клеопатре, на которой, как говорили в Риме, хотел жениться сам цезарь - с которой, во всяком случае, цезарь много развлекался и интриговал. Разве это сопоставление фактов не кажется вам блестящим? В 36 году до н.э. Антоний женится на Клеопатре, как за несколько лет до этого он женился на Октавии, сестре будущего Августа, по политическим причинам — чтобы иметь возможность распоряжаться политическими субсидиями и финансами Египта для завоевания Персии. Завоевание Персии является конечным мотивом всей его политики, высшим объяснением каждого его поступка.

Однако мало-помалу этот шаг, предпринятый обеими сторонами из соображений политических интересов, изменил свой характер под действием событий, времени, личного влияния Антония и Клеопатры друг на друга и, прежде всего, власти, которую Клеопатра приобрела над Антонием: вот действительно самая важная часть всей этой истории. Те, кто читал мою историю, знают, что я почти не пересказывал анекдоты, более или менее странные или занимательные, с помощью которых древние авторы описывают интимную жизнь Антония и Клеопатры, потому что в них невозможно отличить ту часть, которая является фактом, от той, которая была выдумана или преувеличена политической враждой. В истории трудность распознавания истины постепенно возрастает по мере перехода от политической жизни к частной; потому что в политике действия людей и партий всегда связаны между собой либо причинами, либо следствиями, о которых всегда точно известно определенное количество; частная жизнь, с другой стороны, как бы изолирована и тайна, почти неизменно непроницаемая. Чем занимается великий государственный человек в своем собственном доме, его камердинер знает лучше, чем историки более поздних времен.

Если по этим причинам я счел благоразумным не использовать в своей работе истории и анекдоты, которые древние рассказывают об Антонии и Клеопатре, не рискуя объявить их ложью, то, напротив, невозможно отрицать, что Клеопатра постепенно приобрела большое влияние на сознание Антония. Это обстоятельство само по себе весьма вероятно. То, что Клеопатра, возможно, была Венерой, как говорили древние, или что она обладала лишь посредственной красотой, как утверждают портреты, не имеет большого значения: однако несомненно, что она была женщиной большого ума и культуры; как женщина и королева самого богатого и цивилизованного царства древнего мира, она владела всеми теми искусствами наслаждения, роскоши, элегантности, которые являются самыми нежными и опьяняющими плодами всех зрелых цивилизаций. Клеопатра могла бы преобразить в древнем мире самую богатую, элегантную и культурную парижанку в современном мире.

Антоний, с другой стороны, был потомком семьи той римской знати, которая все еще сохраняла много деревенской грубости во вкусах, идеях, привычках; он вырос во времена, когда детям все еще давали спартанское воспитание; он приехал в Египет из страны, которая, несмотря на свои военные и дипломатические триумфы, по сравнению с Египтом могла считаться только бедной, грубой и варварской. На этого интеллигентного человека, жаждущего удовольствий, который, как и другие благородные римляне, уже начал вкушать прелести интеллектуальной цивилизации, сильнейшее впечатление произвела не одна Клеопатра, а весь Египет, чудесный город Александрия, роскошный дворец Птолемеев — все то утонченное, элегантное великолепие, хозяином которого он одним махом оказался. Что могло сравниться в Риме с Александрией? — Рим, несмотря на свою императорскую власть, брошенный на произвол судьбы из-за пренебрежения фракций, погрязший в руинах, с его узкими и убогими улицами, снабженными пока лишь одним *форумом*, узким и невзрачным, единственным впечатляющим памятником которого был театр Помпея; Рим, где жизнь была еще грубой, а предметы роскоши настолько редкими, что их приходилось привозить с далекого Востока? Вместо этого в Александрии, Париже древнего мира, можно было найти все самое лучшее и красивейшее на земле. Здесь было множество роскошных общественных зданий, которые древние не устали превозносить, — набережная длиной в семь *стадиев*, знаменитый на все Средиземноморье маяк, чудесный зоологический сад, музей, Гимнасий, бесчисленные храмы, бесконечный дворец Птолемеев. Здесь было неслыханное по тем временам изобилие предметов роскоши — ковров, стекла, тканей, папирусов, драгоценных камней, художественной керамики, — потому

что все это делали в Александрии. Здесь было в изобилии, большем, чем где бы то ни было, шелка, парфюмерии, драгоценных камней, всех вещей, ввозимых с крайнего Востока, потому что через Александрию проходил один из самых посещаемых маршрутов индокитайской торговли. Там тоже было бесчисленное множество художников, писателей, философов и ученых; общественная жизнь и интеллектуальная жизнь были одинаково бурными; непрерывное движение транспорта туда—сюда, постоянные редкие и любопытные вещи; бесчисленные развлечения; жизнь была более безопасной, чем где—либо еще, - по крайней мере, так считалось, - потому что в Александрии были великие медицинские школы и ученые врачи.

Если другие итальянцы, высадившиеся в Александрии, были ослеплены таким великолепием, то Антоний должен был быть ослеплен; он вступил в Александрию как царь. Тот, кто родился в Риме в маленьком и простом доме обедневшей знатной семьи, кто был воспитан в латинской бережливости, чтобы питаться скромно, пить вино только по праздникам, долго носить одну и ту же одежду, чтобы ему прислуживал единственный раб, — этот человек оказался хозяином огромного дворца Птолемеев, где одни только кухни были в сто раз больше, чем в доме его отцов в Риме; где для его удовольствия были собраны самые драгоценные сокровища и самые изумительные коллекции произведений искусства; где в его распоряжении были целые вереницы слуг, а также множество других предметов искусства. и любое желание могло быть немедленно исполнено. Поэтому нет необходимости предполагать, что Антоний был безрассудно влюблен в египетскую царицу, чтобы понять перемену, произошедшую в нем после их женитьбы, когда он вкусил неповторимую александрийскую жизнь, эту элегантность, эту непринужденность, это богатство, эту пышность, не имеющую себе равных.

Человек действия, выросший в простоте, закаленный грубой жизнью, он внезапно оказался в гуще самой утонченной и высокоразвитой цивилизации древнего мира и получил величайшие возможности наслаждаться ею и злоупотреблять ею, какие когда-либо были у человека: как и следовало ожидать, он был опьянен; он заразился почти безумной страстью к такой жизни; он обожал Египет с таким пылом, что забыл ради этого страну своего рождения и скромный дом своего детства. И тогда началась великая трагедия его жизни, трагедия не любовная, а политическая. По мере того как власть Египта укреплялась в его сознании, Клеопатра пыталась убедить его не завоевывать Персию, а открыто признать Египетское царство, основать вместе с ней и их детьми новую династию и создать великую новую Египетскую империю, присоединив к Египту лучшую часть провинций, которыми владел Рим в Африке и Азии, навсегда предоставив Италию и провинции Запада их судьбе.

Клеопатра думала вырвать у Рима его Восточную империю рукой Антония в этом огромном беспорядке революции; реконструировать великую Египетскую империю, поставив во главе ее первого полководца того времени, создав армию римских легионеров на золото Птолемеев; сделать Египет и его династию главными властителями Африки и Азии, передав Александрии политический и дипломатический контроль над лучшими частями Средиземноморского мира.

Поскольку этот шаг провалился, люди сочли его глупостью; но тот, кто знает, как легко быть мудрым после событий, будет судить об этой запутанной политике Клеопатры менее резко. Во всяком случае, несомненно, что ее план провалился скорее из-за собственной непоследовательности, чем из-за энергии и умения, с которыми Рим пытался помешать ему; несомненно, что при осуществлении плана Антоний первым ощутил в себе трагический разлад

между Востоком и Западом, который так долго терзал Империю; и первой жертвой этого трагического разлада он стал. Восторженный поклонник Египта, ярый эллинист, он увлечен своим великим честолюбием стать царем Египта, возобновить знаменитый род Птолемеев, продолжить на Востоке славу и традиции Александра Македонского: но далекий голос его отечества все еще звучит в его ушах; он вспоминает город своего рождения, Сенат, в котором он столько раз выступал, форум своих речей, Комитии, избравшие его магистратом; Октавию, благородную женщину, на которой он женился со священным отцом. обряды латинской моногамии; друзья и солдаты, с которыми он сражался во стольких странах и в стольких войнах; основополагающие принципы дома, которые управляли семьей, государством, моралью, общественной и частной.

План Клеопатры, рассматриваемый из Александрии, был героическим предприятием, почти божественным, которое могло вознести его и его отпрысков к наслаждениям Олимпа; увиденный из Рима друзьями его детства, его товарищами по оружию, тем народом Италии, который все еще так восхищался им, это было шокирующее преступление неверности своей стране; мы называем это государственной изменой. Поэтому он долго колеблется, больше всего сомневаясь, сможет ли он сохранить для новой Египетской империи римские легионы, состоящие в основном из итальянцев, всеми которыми командуют итальянские офицеры. Он не знает, как противопоставить решительное *Нем* настояниям Клеопатры и освободиться от роковых уз, удерживающих его рядом с ней; он не может вернуться жить в Италию после того, как был царем в Александрии. Более того, он не осмеливается объявить о своих намерениях своим римским друзьям, опасаясь, что они разбегутся; солдатам, опасаясь, что они взбунтуются; Италии, опасаясь, что она осудит его как предателя; и так, мало-помалу, он запутывается в изворотливой политике, полной увиливаний, уловок, уверток, одной ошибки за другой, что приводит его к Actium.

Я думаю, что показал, что Антоний пал жертвой в знаменитой войне не потому, что, обезумев от любви, отказался от командования в разгар битвы, а потому, что его армии взбунтовались и бросили его, когда поняли то, о чем он не осмеливался заявить им открыто: что он намеревался расчленив Римскую империю, чтобы создать новую Александрийскую империю. Будущий Август одержал победу при Акциуме без особых усилий, просто потому, что национальные чувства солдат, возмущенных непредвиденным разоблачением измены Антония, обратились против человека, который хотел возвысить Клеопатру за счет своей собственной страны.

А затем победившая партия, партия Августа, создала историю Антония и Клеопатры, которая так развлекала потомков; эта история — всего лишь популярное объяснение - отчасти творчески преувеличенное и фантастическое — восточной опасности, угрожавшей Риму, как ее политической фазы, так и ее морального аспекта. Согласно истории, которую Гораций облек в такие очаровательные стихи, Клеопатра хотела завоевать Италию, поработить Рим, разрушить Капитолий; но Клеопатра одна не смогла бы справиться с такой трудной задачей; она, должно быть, соблазнила Антония, заставила его забыть свой долг перед женой, законными детьми, Республикой, солдатами, родной землей — все обязанности, которые латинская мораль внушала великим людям и которые бесстыдная египтянка, развращенная всеми искусстваами Востока, стерла с лица Земли. поэтому трагическая судьба Антония должна послужить торжественным предупреждением не доверять сладострастным соблазнам, элегантно и

роковую порочность которых Клеопатра символизировала. История была преувеличена, окрашена, размыта не потому, что она была красивой и романтической, а потому, что она служила интересам политической *тусовки*, которая получила определенный контроль над правительством после крушения Антония. В Акции Август не вел настоящей войны, он лишь пассивно наблюдал, как мощь противника разваливается на куски, разрушенный собственными внутренними противоречиями. Он не решался завоевать Египет до тех пор, пока общественное мнение Италии, разгневанное против Антония и Клеопатры, не потребовало этой мести с такой настойчивостью, что ему пришлось удовлетворить ее.

Если Август и не был человеком слишком быстрым в действиях, то, напротив, он обладал острым умом в понимании ситуации, сложившейся в результате катастрофы при Антонии в Италии, где уже в течение десяти лет общественный дух, напуганный революцией, стремился вернуться к образу жизни прошлого, к историческим истокам национальной жизни. Август понимал, что он должен предстать перед Италией, испытывающей отвращение к затянувшимся разногласиям и стремящейся вернуться на путь национальной традиции, как воплощение всех добродетелей, которые его современники противопоставляли восточной "коррупции", — простоты, строгости личных привычек, жесткой моногамии, антифеминистического духа, чисто мужской идеи государства. Естественно, возвышение этих добродетелей требовало изображения в его сопернике Акции, насколько это было возможно, противоположных недостатков; поэтому усилия его друзей, таких как Гораций, приукрасить историю Антония и Клеопатры, которые должны были возвеличить в глазах италиков идею опасности, от которой Август спас их в Акции; которая должна была служить барьером против вторгающейся восточной "коррупции", той "коррупции", суть которой я уже анализировал.

В определенном смысле легенда об Антонии и Клеопатре - это в основном антифеминистская легенда, призванная укрепить в государстве власть мужского начала, продемонстрировать, насколько опасно может быть предоставлять женщинам управление общественными делами или следовать их советам в политических делах.

Люди верили этой легенде; в нее поверили и потомки. Два года назад, когда я опубликовал в *"Ревю де Пари"* статью, в которой с помощью очевидных аргументов продемонстрировал несоответствия и абсурдность легенды и попытался восстановить в ней полустертые строки правды, все были поражены. От одного конца Европы до другого газеты излагали выводы моего исследования как поразительное откровение. Выдающийся французский государственный деятель, человек высочайшей культуры в области изучения истории, Жозеф Райнах, сказал мне:

После вашей статьи я перечитал Диона и Плутарха. Поистине удивительно, что на протяжении двадцати веков люди читали и перечитывали эти страницы, и никто не осознавал, насколько запутанны и абсурдны их описания.

По-видимому, законом человеческой психологии является то, что почти все исторические персонажи, от Миноса до Мадзини, от Иуды до Шарлотты Корде, от Ксеркса до Наполеона, являются вымышленными персонажами; одни преобразуются в полубогов благодаря восхищению и успеху; другие унижаются ненавистью и неудачами. На самом деле первые часто были уродливее, вторые привлекательнее, чем их изображала традиция, потому что мужчины в целом не слишком хороши и не слишком плохи, не слишком умны и не слишком глупы. В заключение, историческая традиция полна искаженных карикатур и идеальных преобразований; потому что, когда они умирают, впечатление об их политических современниках все еще служит

целям партий, государств, наций, институтов. Может ли этот человек возвыситься в народе сознание его собственной силы, его собственной энергии, его собственной ценности? Вот, тогда они делают из него бога, как из Наполеона или Бисмарка. Может ли это другое подпитывать массовую ненависть и презрение другой партии, правительства, порядка вещей, которому желательно нанести вред? Затем они делают из него монстра, как это случилось в Риме с Тиберием, во Франции с Наполеоном III, в Италии со всеми, кто по тем или иным причинам выступал против объединения Италии.

Это правда, что со временем интересы, окрасившие определенные фигуры в определенные тона, исчезают; но тогда репутация персонажа, хорошая или плохая, уже создана; его имя запечатлено в памяти потомков прилагательным "великий", "мудрый", "злой", "жестокий", "хищный", — и нет такой человеческой силы, которая могла бы отделить имя от прилагательного. Какой-нибудь далекий историк, изучающий все документы, исследующий последовательность событий, опровергнет традицию, изложенную в ученых книгах; но его работа не только не сможет убедить невежественную массу, но и должна будет бороться с многочисленными возражениями, выдвигаемыми инстинктивным недоверием культурных людей.

Вы скажете мне: "Какой смысл писать историю? Зачем тратить столько усилий на исправление ошибок, в которых люди будут упорствовать, как если бы история никогда не была написана?" Я отвечаю, что не верю, что задача истории состоит в том, чтобы воздавать посмертное правосудие людям, которые руководили великими событиями в истории человечества. Это уже достаточно серьезная работа для каждого поколения - отдать немного справедливости живым, вместо того чтобы заниматься оказанием помощи мертвым, которые действительно, в отличие от живых, в этом не нуждаются. Изучение истории, исправление историй прошлого должно служить другой, практической цели; то есть научить людей, управляющих нациями, более четко, чем это возможно в их собственном окружении, различать правду, лежащую в основе легенд. Как я уже говорил, страсти, интересы представляют исторических персонажей в тысяче форм, когда они живы, преображая не только самих людей, но и самые разнообразные события, характер институтов, условия жизни наций.

Принято считать, что легенды встречаются только на заре истории, в поэтический период; это большая ошибка; легенда — легенда, которая обманывает, которая искажает, которая вводит в заблуждение — присутствует повсюду, во все века, как в настоящем, так и в прошлом — в настоящем даже больше, чем в прошлом, потому что она является следствием определенных универсальных форм мысли и чувства. Сегодня, как и десять или двадцать веков назад, интересы и страсти доминируют над событиями, изменяют их и искажают, создавая вокруг них настоящие романы, более или менее вероятные. Настоящее, которое всем кажется одной и той же реальностью, вместо этого для большинства людей является всего лишь огромной легендой, по которой ходят современники, движимые самыми разными чувствами.

Однако масса может довольствоваться этой легендой, пульсирующей ненавистью и любовью, надеждой и страхом перед созданными ею же фантомами, те, кто направляет массы и управляет ими, должны попытаться разгадать правду, насколько они могут. Великий государственный деятель отличается от посредственности большей способностью угадывать реальное в мире своих действий под оболочкой запутанных легенд; большей способностью отличать во всем, что является правдой, от того, что лишь кажется правдой, в престиже государств и институтов, в

силах партий, в энергии, приписываемой определенным людям, в целях, провозглашаемых партиями и людьми, часто отличающихся от их реальных замыслов. Для этого необходима некоторая природная предрасположенность, живость интуиции, которая должна приходить с рождением; но эта способность может быть усовершенствована и натренирована практическим знанием людей, опытом в вещах и изучением истории. В прошедшие века, когда исчезли интересы, создавшие их легенды, мы можем обнаружить, как создавались эти великие народные заблуждения, которые являются одной из величайших сил истории, и как они работают. Таким образом, мы можем укрепить свой дух, чтобы противостоять обманчивым иллюзиям, которые окружают нас и приходят со всех концов огромного современного мира, в котором так много интересов оспаривают господство над мыслями и волей. Только в этом смысле я верю, что история может учить, но не толпе, которая никогда ничему из нее не научится, но, движимая теми же страстями, всегда будет повторять те же ошибки и те же глупости; но немногим избранным, которым поручено руководить исторической игрой, важно знать как можно лучше ее внутренний закон. Взятая таким образом, история может быть великим учителем в каждой своей странице, в каждой строке, а изучение легенды об Антонии и Клеопатре само по себе может даже послужить подготовке духа дипломата, который должен вести переговоры между государствами в сложных экономических и политических вопросах современного мира. Итак, в заключение, история и жизнь оказывают друг другу взаимные услуги; жизнь учит истории, а история - жизни; наблюдая за настоящим, мы помогаем себе познать прошлое, и от изучения прошлого мы можем вернуться в наше настоящее более закаленными и подготовленными к наблюдению и пониманию его. В настоящем и прошлом история может формировать своего рода мудрость, стоящую особняком, в определенном смысле аристократическую, над тем, что знают массы, по крайней мере, в том, что касается универсальных законов, управляющих жизнью наций.

Развитие Галлии

Оценивая отдаленные исторические события, человек часто становится жертвой ошибочной перспективы; то есть он склонен рассматривать как результат заранее установленного плана человеческой мудрости то, что является конечным результатом, совершенно непредвиденным, причин, которые действовали за пределами предвидения современников. На расстоянии веков, возвращаясь к прошлому, мы можем легко обнаружить, что усилия одного или двух поколений оказали определенное влияние на действительное состояние мира; и тогда мы приходим к выводу, что эти поколения намеревались достичь этого результата. Напротив, люди почти всегда сталкиваются с будущим, ставя перед собой невозможные цели; несмотря на это, их усилия, накапливаясь, разрушая, переплетаясь, приводят к последствиям, которые никто не предвидел и не планировал, новизну или важность которых часто осознают только будущие поколения. Колумб, который, заикленный на идее достичь Индии, плывя на запад, находит на своем пути Америку и не сразу узнает ее, но убежден, что он высадился в Индии, символизирует судьбу человека в истории.

Классический пример этого явления, которое для меня является фундаментальным законом истории, есть в истории Рима: завоевание Галлии. Без сомнения, одним из величайших достижений Рима было завоевание и романизация Галлии: действительно, это завоевание и романизация Галлии являются началом европейской цивилизации; ибо до того, как греко-латинская цивилизация достигла Рейна по путям, открытым римским мечом, европейский континент имел центры цивилизации на побережье или в его выступающих оконечностях, таких

как Италия, Бетика, Нарбонна; но внутренние районы все еще были полностью во власти бурного и беспокойного варварства, подобно сегодняшнему африканскому континенту. Более того, то, что Рим создал в Азии и Африке, было почти полностью разрушено последующими веками; напротив, Рим все еще живет во Франции, которой он передал свой язык, свой дух и традиции своего мышления. Именно по этой причине особенно важно объяснить, как был достигнут такой результат и какими историческими силами. Из-за склонности рассматривать каждое великое историческое событие как всецело шедевр человеческого гения, многие историки приписывают также это достижение поразительной, почти божественной мудрости римлян, а Юлия Цезаря считают полубогом, устремившим свой взор в далекое-далекое будущее. Однако, критически изучая древние документы, нетрудно убедить себя, что даже если Цезарь был гениальным человеком, он не был богом; что от начала до конца реальная история завоевания Галлии сильно отличается от общепринятой версии.

Я надеюсь продемонстрировать, что Цезарь бросился в гущу галльских дел, побуждаемый незначительными инцидентами внутренней политики, не только не задумываясь о будущей судьбе Галлии, но даже не зная хорошо существующих там условий. Галлия была тогда для всех римлян варварским регионом, бедным, мрачным, полным болот и лесов, в которых было много сражений и мало добычи: никто тогда не думал о том, чтобы римская территория пересекала Альпы; все были увлечены историей Александра Македонского, мечтая только о том, чтобы завоевать, подобно ему, весь богатый и цивилизованный Восток; все, даже Цезарь. Только череда политических случайностей невольно толкнула его в Галлию.

В 62 году до н.э. Помпей вернулся с Востока, где завершил завоевание Понта, начатое Лукуллом, и аннексировал Сирию. По его возвращении консервативная партия, раздраженная против него из-за того, что он перешел на противоположную сторону, и получившая пищу для размышлений из-за престижа, который политика экспансии завоевывала для народной партии, преуспела в многочисленных интригах, удерживая Сенат от ратификации того, что он сделал на Востоке. Эта внутренняя борьба закрыла Восток на несколько лет от авантюрных инициатив политических империалистов; ибо до тех пор, пока администрация Помпея оставалась неутвержденной, было невозможно думать о новых предприятиях или завоеваниях в Азии и Африке; и поэтому по необходимости римская политика, жаждавшая завоеваний и авантур, должна была обратиться к другой части Европы.

Письма Цицерона доказывают нам, что Цезарь был не первым, кто считал, что Риму, у которого на данный момент связаны руки на Востоке, следует вмешиваться в дела Галлии. Человеком, которому впервые пришла в голову идея галльской политики, был Квинт Метелл Целер, муж знаменитой Клодии и консул за год до Цезаря. Воспользовавшись некоторыми беспорядками, возникшими в Галлии из-за постоянных войн между различными частями, Метелл убедил сенат разрешить ему начать войну с гельветами. В начале 59 года, то есть года, в который Цезарь был консулом, Метелл уже готовился отправиться на войну в Галлию, когда внезапно умер; и тогда Цезарь, воспользовавшись интересом Рима к галльским делам, поручил миссию, ранее возложенную на Метелла, себе и занял как должность Метелла, так и его план. Здесь, в начале этой истории, вы видите первый несчастный случай — смерть Метелла. Историк, интересующийся приятными вопросами, на которые нет ответов, мог бы спросить себя, какой была бы история мира, если бы Метелл не умер. Конечно, Рим был бы занят галльскими делами на год раньше и другим человеком; Цезарю, вероятно, пришлось бы искать блестящего проконсула в другом месте, и галльские дела навсегда ускользнули бы от его энергии.

Как бы то ни было, Цезарь, случайно и неожиданно оказавшийся вовлеченным в дела Галлии, отправился туда, не зная хорошенько, в каком они состоянии, и, фактически, как я думаю, я доказал в длинном приложении, опубликованном во французском и английском изданиях моего труда, он начал свою галльскую политику с серьезной ошибки, то есть с нападения на гельветов. Обладая незаурядным умом, Цезарь не заставил себя долгоориентироваться среди огромной неразберихи, которую он застал в Галлии; но для этого нет необходимости думать, что он осуществлял в галльской политике обширные планы, которые долго обдумывал: вместо этого он действовал так, как того требовали неопределенные изменения римской политики. Я полагаю, что есть только один способ понять и разумно объяснить политику, проводимую Цезарем в Галлии, его внезапные шаги, его зигзаги, его дерзости, его ошибки; это изучать ее из Рима, всегда иметь в виду внутренние изменения, партийную борьбу, в которую он был вовлечен в Риме. Короче говоря, Галлия была для цезаря лишь средством воздействия на внутреннюю политику Рима, которым он пользовался изо дня в день, поскольку, казалось, того требовали сиюминутные интересы текущего часа.

Я привожу единственный пример, но наиболее показательный. Цезарь объявил Галлию римской провинцией и присоединил ее к Империи в конце 57 года до н.э.; то есть в конце второго года своего пребывания на посту проконсула, неожиданно, без каких—либо предупреждающих действий, свидетельствующих о столь решительном намерении, - сюрприз; и почему? Посмотрите на Рим, и вы поймете. В 57 году до н.э. демократическая партия, деморализованная разногласиями, расстроенная народной агитацией за отзыв Цицерона из несправедливого изгнания, дискредитированная скандалами, особенно египетскими, казалось, была на грани развала. Цезарь понимал, что есть только один способ остановить это разорение: ошеломить общественное мнение и всю Италию каким-нибудь в высшей степени дерзким сюрпризом. Сюрпризом стала аннексия Галлии. Объявив Галлию римской провинцией после победы над белгами, он убедил Рим, что за два года победил всех галльских противников. Итак, завоевание Галлии — это событие, которое должно было открыть новую эру, это событие, последствия которого ощущаются до сих пор, — вначале было для тех, кто задумал и осуществил его, не чем иным, как смелым политическим ходом в интересах партии, направленным на разрешение ситуации, скомпрометированной многочисленными ошибками.

Но вы спросите меня: как из такого крошечного семени могло вырасти такое могучее дерево, покрывающее своими ветвями такую большую часть земли? Вы знаете, что по окончании срока полномочий проконсула в Галлии разгорается великая гражданская война; она длится с краткими перерывами до битвы при Акциуме. Только к 30 году до н.э. буря утихает, и в течение этого времени Галлия, кажется, почти исчезает; древние авторы почти не упоминают об этом, разве что время от времени на мгновение сообщают нам, что вспыхнуло какое-то незначительное восстание, то здесь, то там, на огромной территории; что тот или иной военачальник был послан для его подавления.

Гражданские войны закончились, правительство Рима вновь обращает свое внимание на провинции, но уже по другой причине. Святой Иероним сообщает нам, что в 25 году до нашей эры Август увеличил дань с галлов: нам нетрудно понять причину этого факта. Самым неотложным делом после восстановления мира была реорганизация финансов; тогда это означало, как всегда, увеличение податей; но большего нельзя было вымогать из восточных провинций, уже истощенных столькими войнами и грабежами; поэтому возникла идея получать больше доходов из европейских провинций, недавно завоеванных, особенно из Галлии,

которая до тех пор платила так мало. Итак, вы видите, как в цепи выковывается одно звено за другим: цезарь в политических интересах завоевывает Галлию; тридцать лет спустя Август отправляется туда в поисках новых поступлений для своего баланса; отсюда и далее всегда возникают неотложные потребности, которые побуждают римских политиков вмешиваться в галльские дела: и вот так мало-помалу римская политика становится постоянной, благодаря своего рода сцеплению, а не обдуманному плану.

Мы можем легко следить за процессом. Август оставил в Галлии, чтобы взыскать новую дань, бывшего раба цезаря, впоследствии освобожденного, — галла или германца, которого цезарь захватил в пленребенком во время одной из своих экспедиций и позже освободил из-за его непревзойденных административных способностей. Однако, похоже, что, по крайней мере, для галлов, эта способность была даже слишком велика. В любопытной главе Дион рассказывает нам, что Лициний, этот вольноотпущенник, сочетавший алчность варвара с притворством римлянина, побеждал всех, кто казался выше его; притеснял всех, кто, казалось, обладал большей властью; вымогал у всех огромные суммы, чтобы оплатить его служебные обязанности или обогатить себя и свою семью. Его негодяйство было настолько велико, что, поскольку галлы платили определенные налоги каждый месяц, он увеличил количество месяцев до четырнадцати, объявив, что декабрь, последний, был только десятым; следовательно, необходимо было насчитать еще два, один называется Undecember, а другой - Duodecember.

Я бы не поручился, что эта история правдива, поскольку, когда в стране вводится новая и более обременительная система налогов, всегда появляются в обращении рассказы подобного рода о жадности лиц, которым поручено их собирать: но правдива или лжива, эта история показывает, что галлы были сильно раздражены новой данью; действительно, это раздражение усилилось настолько, что зимой с 15 по 14 год до н.э. Август, вынужденный оставаться в Галлии из-за некоторых серьезных осложнений, возникших в Германии, был вынужден уделить этому внимание во время своего пребывания в стране. Видные люди Галлии представили ему энергичные жалобы на Лициния и его администрацию. Затем произошел эпизод, который, с некоторой наивностью пересказанный Дионом Кассием три столетия спустя, был упущен историками, но который, как мне кажется, представляет первостепенный интерес в истории латинского мира. Дион пишет:

Август, не в силах не обвинять Лициния во многих доносах и разоблачениях галльских вождей, пытался оправдать его и в других вещах; он делал вид, что не знает определенных фактов, притворялся, что не принимает других, стыдясь того, что назначил такого прокуратора в Галлии. Лициний, однако, избежал опасности с помощью явно оригинального средства. Когда он понял, что Август недоволен и что он подвергается большому риску быть наказанным, он отвел этого Принца в свой дом и, показав ему свои многочисленные сокровищницы, полные золота и серебра, огромные груды предметов, сделанных из драгоценных металлов, сказал: "Мой господин, только для вашего блага и блага римлян я собрал все эти богатства. Я боялся, что туземцы, укрепленные таким богатством, могут взбунтоваться, если я оставлю их им; поэтому я отдал их на хранение тебе и отдаю их тебе". Итак, под предлогом того, что таким образом он сломил власть варваров ради Августа, Лициний спас себя от опасности.

Этот инцидент, без сомнения, имеет привкус легенды. Должны ли мы поэтому заключить, что он полностью выдуман? Нет, потому что в истории искажений истины гораздо больше, чем выдумок. Эта страница Диона важна. Она сохранила для нас, представленную в драматической

сцене между Августом и Лицинием, запись очень серьезного спора, состоявшегося между знатными людьми Галлии и Лицинием в присутствии Августа. Галлы жалуются на уплату слишком больших пошлин; Лициний отвечает, что Галлия очень богата; что она быстро богатеет и поэтому должна платить столько, сколько от нее требуют, и даже больше. Вольноотпущенник не только показал своему господину комнаты, полные золота и серебра; он показал ему огромный экономический прогресс Галлии, ее чудесное будущее, огромные богатства, скрытые в ее почве и в гении ее жителей. Другими словами, эта глава "Диона" заставляет нас заключить, что Рим — то есть маленькая олигархия, которая направляла его политику, — осознал, что Галлия, завоеванная Цезарем, Галлия, которая всегда считалась холодной и стерильной страной, вместо этого была великолепной провинцией, естественно богатой, из которой они могли получить огромные сокровища. Это открытие было сделано зимой 15-14 гг. до н.э.; то есть через сорок три года после того, как цезарь присоединил провинцию к Империи; через сорок три года после того, как они овладели ею, не зная, чем они владеют, подобно какому-нибудь *великому сеньору*, который невольно держит среди обычных вещей своего наследия какой-нибудь бесценный предмет, ценность которого внезапно раскрывается только случайно.

Эта глава "Диона" позволяет нам также утверждать, что тот, кто первым осознал ценность Галлии и открыл глаза Августу, не был великим представителем римской аристократии, чьи имена столь возвышенными буквами вписаны на страницах истории, чьи изображения до сих пор можно найти в мраморе и бронзе в музеях Европы; никто из тех, кто правил Империей и, следовательно, согласно разуму и справедливости, не нес ответственности за ее хорошее управление: вместо этого это был безвестный вольноотпущенник, чьи способности хозяева Империи презирали, используя их иначе, как в наши дни крестьянин использует силы наемников. его вол, едва удостаивающий его взглядом и все же считающий весь его труд чем-то вроде естественного права владельца.

Так обстоит дело в этой истории. Галльский вольноотпущенник заметил, понял и был забыт; вместо этого потомкам пришлось удивляться глубокой мудрости римского аристократа, который ничего не понимал. Более того, если в 14 году до н.э. Лицинию пришлось приложить усилия, чтобы убедить удивленного и неуверенного в себе Августа в том, что Галлия - провинция великого будущего, то ясно, что Галлия, должно быть, уже начала богатеть сама по себе, без каких-либо действий римского правительства, способствующих ее прогрессу.

Из каких скрытых источников возникло это новое богатство Галлии? Все документы, которыми мы располагаем, позволяют нам ответить, что Галлия — начиная со времен Августа — смогла быстро разбогатеть, потому что события, последовавшие за римским завоеванием, изменили общее состояние империи в ее пользу. Галлия тогда, как и нынешняя Франция, обладала рядом необходимых условий для того, чтобы стать страной с высоким экономическим развитием: очень плодородная земля; многочисленное для того времени население, умное, бодрствующее, активное; климат, который, хотя и казался грекам и римлянам холодным и туманным, лучше подходил для интенсивной деятельности, чем теплый и солнечный климат Юга; и, наконец, — высшее преимущество древней цивилизации — его повсюду пересекала сеть каналов и судоходных рек. В древние времена наземный транспорт был очень дорогим; вода была естественным и экономическим средством торговли: поэтому цивилизация могла проникать с торговлей вглубь континентов только по рекам, которые, можно сказать, были в определенной степени железными дорогами древнего мира.

К этим выгодным условиям, которые, будучи физическими, существовали до римского завоевания, само завоевание добавило некоторые другие: оно разрушило политический барьер, который ранее перекрывал эти удобные средства проникновения, реки; оно подавило войны между галльскими племенами, привилегии, тиранию, пошлыны, монополии; оно спасло огромные ресурсы, которые ранее растрачивались на эти постоянные стоки; оно снова вложило мотыгу, лопату, инструменты ремесленника в руки, которые раньше владели мечом; и, наконец, оно укрепило (и это, возможно, было главной причиной) наиболее важный эффект) юрисдикция собственности. Когда Цезарь вторгся в Галлию, крупные землевладельцы все еще выращивали зерновые и текстильные фабрики, но мало; большую часть своего состояния они вкладывали в разведение крупного рогатого скота именно потому, что при том режиме постоянных войн и революций на землях легко менялись владельцы. Более того, более частые контакты с Римом познакомили галлов с римским сельским хозяйством и его более умелыми методами, с латинской жизнью и ее изученным порядком.

Благодаря сочетанию всех этих причин население и производство быстро росли. Прирост населения был настолько значительным, что это заметили сами древние. Страбон (Вк. 4, гл. i, §2) отмечает, что галльские женщины - плодотворные матери и превосходные кормилицы. С ростом населения богатство росло со всех сторон, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности и торговле.

Новая и более стабильная юрисдикция земельной собственности произвела еще один важнейший эффект; она быстро способствовала выращиванию зерновых и текстильных растений, пшеницы и льна. "Вся Галлия производит много пшеницы", - говорит Страбон, и мы читаем его заметку без удивления, потому что знаем, что Франция даже сегодня является регионом Европы, наиболее плодородным в плане зерновых культур. Нет никаких оснований предполагать, что двадцать веков назад она была лишена их. Другие документальные свидетельства, в частности надписи, подтверждает Страбон, сообщая нам, что, особенно во втором веке, Рим закупал обычное зерно для прокормления метрополии не только в Египте, но и в Галлии. Короче говоря, Галлия, по-видимому, была единственным регионом Европы, достаточно плодородным, чтобы иметь возможность экспортировать зерно, и была для Рима своего рода Канадой или Средним Западом того времени, расположенным не за океанами, а за Альпами.

Выращивание льна, для древнего мира того же, чем сегодня является хлопок, в Галлии быстро развивалось наряду с выращиванием пшеницы, так что Галлия рано смогла соперничать с Египтом и в этом отношении. То, что Галлия и Египет одновременно имели так много общего, было чем-то настолько интересным и казалось таким странным, что сам Плиний писал:

Лен сеют только в песчаных местах и после однократной вспашки. Возможно, Египту можно простить его посев, потому что на него он покупает товары Индии и Аравии. Но, послушайте!— даже Галлия славится этим растением. Какое это имеет значение, если огромные горы закрывают море; если со стороны океана его ограничивает то, что называется пустотой? Несмотря на это, Галлия выращивает лен, как Египет: кадурки, калети, рутени, битуринги, морини, которые считаются племенами с разных концов земли ... но что я говорю? Вся Галлия делает паруса, пока враги за Рейном не начнут подражать им, и полотно не станет для глаз красивее, чем их женщины.

Эти описания показывают, что Галлия является одной из новых стран, подобных Аргентинской Республике или Соединенным Штатам, в которых земля все еще сохраняет почти свою естественную первозданную плодородность и произрастает в удивительном изобилии растений, которые одевают и питают человека. Мы знаем, что в Галлии во времена Империи были огромные земельные владения, перед лицом которых состояния богатых итальянских владельцев уменьшаются подобно судьбам Европы по сравнению с богатыми ранчо Аргентинской Республики или Соединенных Штатов. Двадцать лет назад во Франции начали раскопки руин великих галло-римских вилл: они построены по плану итальянской виллы, украшены таким же образом, но гораздо больше, роскошнее, эффектнее; в них чувствуется гордость нового народа, который перенял латинскую цивилизацию, но привнес в нее, унаследованную от богатства их земли, дух величия и роскоши, которого не знали более бедные и пожилые латиноамериканцы, точно так же, как сегодня американцы приносят дух большего размаха и смелости во многие вещи, которые кажутся им невероятными. Они берут у робкой, старой Европы. Возможно, в этой галльской роскоши, как и в американской, было немного показухи, призванной унижить хозяев, оставшихся беднее и скромнее.

Но Галлия была страной, богатой не только плодороднейшим сельским хозяйством; наряду с этим развивалась и ее промышленность. Это, по моему мнению, один из важнейших моментов древней истории. Под римским владычеством Галлия не ограничивалась лучшей обработкой своей плодородной почвы; но единственная среди народов Запада стала, как мы могли бы теперь сказать, промышленной нацией, которая производила не только сама и для себя, но, подобно Малой Азии, Египту, Сирии, продавала также другим народам Империи и за ее пределами; одним словом, экспортировала. Более частые контакты с Востоком лучше знакомили галлов с прекрасными предметами, изготовленными ремесленниками Лаодикии, Тира, Сидона; и умный гений кельта, всегда способный к трудолюбию, черпал в них стимул к созданию галльской промышленности, частично имитирующей, частично оригинальной, и к поиску большой *клиентуры* для этих производств в Италии, в Испании, за Рейном, среди германцев, в придунайских провинциях. Это подтверждается рядом важных отрывков у Плиния, подтвержденных надписями и археологическими открытиями.

Плиний уже говорил нам, что галлы изготовляли много полотняных парусов; мы также знаем, что они делали не только грубые паруса, но и тонкое полотно для одежды, которое имело широкий рынок сбыта. На Востоке были найдены многочисленные фрагменты надписи, содержащей знаменитый эдикт Диоклетиана о максимально разрешенных продажных ценах, надпись, представляющая ценность для нас благодаря ее номенклатуре древних тканей. В этой номенклатуре упоминается *birrus* из Лаодикии, имитация *birrus* из Нервии, которая представляла собой очень тонкую льняную ткань, которую носили светские дамы. Лаодикия была одним из древнейших центров производства восточных тканей; нервии были одним из самых отдаленных галльских народов, живших — примечательное совпадение — примерно там, где сейчас находится Фландрия. Если в Лаодикии в конце III века производили имитацию нервийского полотна, это означает, что нервии преуспели в производстве ткани и нашли рынок сбыта, настолько желанный, что побудили лаодикийцев, конкурирующих за торговлю, подражать ей. Есть ли более убедительное доказательство того, что в первые века существования империи галлы значительно улучшили свою промышленность и расширили рынки сбыта?

Они освоили ткачество, но на этом не остановились; они изобрели новые методы окрашивания, используя растительные красители вместо обычных для Востока животных окрасов. Плиний говорит:

Галлы имитируют травами все цвета, включая тирский пурпур; они не ищут моллюсков на дне моря; они не рискуют быть съеденными морскими чудовищами; они не используют глубины без якоря, чтобы усилить привлекательность куртизанки или усилить силу соблазнителя чужой жены. Они собирают травы, как злаки, стоя на сухой земле; хотя цвет, который они приобретают, не выдерживает стирки. Таким образом, роскошь может быть удовлетворена большим зрелищем ценой меньшего количества опасностей.

Итак, ясно, что, согласно Плинию, одно время считалось, что конкуренция галльских красильщиков могла погубить восточных, и сделала бы это, если бы стойкость их растительной окраски соответствовала ее красоте. В другом отрывке Плиний сообщает нам, что эти галльские продукты использовались в основном рабами и простым населением.

Шерстяная промышленность достигла в Галлии не меньшего прогресса, чем ткачество и крашение. Из многочисленных отрывков Ювенала и Марциала явствует, что шерстяная одежда, которую носило население Рима во втором веке, была соткана в Галлии, особенно в районах, известных сегодня как Аррас, Лангр, Сентонж. Плиний приписывает галлам изобретение шерсти, которая, пропитанная кислотой, становилась негорючей и использовалась для изготовления матрасов.

Изготовление стекла было еще одним искусством, принесенным с Востока через Средиземноморье в Галлию. Еще одна отрасль промышленности, металлургия, после ткачества внесла большой вклад в обогащение Галлии. Несомненно, еще до римского завоевания в Галлии разрабатывались золотые рудники; однако, похоже, что серебряные рудники оставались нетронутыми примерно до времен Августа. Во всяком случае, открытие нескольких месторождений золота и серебра дало толчок нескольким процветающим отраслям промышленности: ювелирному делу и — исконной галльской промышленности, имеющей большое значение — серебрению и лужению. Вот еще один отрывок из Плиния, из которого вы увидите, что в те времена во Франции уже изготавливали серебряные тарелки "Кристофле":

Они покрывают медь оловом [пишет Плиний] таким образом, что ее трудно отличить от серебра. Это галльское изобретение. Позже они начали делать то же самое с серебром, покрывая серебром особенно украшения лошадей и экипажей. Заслуга изобретения принадлежит Битуриджи, а промышленность была развита в городе Алезия. По той же моде повсюду распространилось дурацкое изобилие предметов, не только серебряных, но и позолоченных. Все, что называется *культом*, элегантностью!

Мы могли бы почти сказать, что галльская промышленность сделала со старыми отраслями промышленности древнего мира то же, что немецкие изделия сделали по сравнению со старыми и более аристократическими изделиями Франции, Англии, популяризовав предметы роскоши для многих и просто состоятельных людей.

Наконец, если кто-то сомневался в том, стоит ли полностью доверять этим очень важным отрывкам Плиния, он был бы вполне убежден, прочитав великий труд Дешелетта. Этот автор, изучая с картезианским терпением и высочайшей критической проницательностью галльскую керамику, разбросанную по музеям, весьма похвально продемонстрировал, что в первом

столетии Империи в Галлии, особенно в долине Алье, было открыто и процветало множество керамических мануфактур, и что они продавали свои вазы в Испании, в Придунайских регионах, немцам и Италии.

Дешелетт доказал, что многие керамические изделия, найденные среди руин Помпей, которыми сейчас восхищаются музеи Помпей и Неаполя, были изготовлены в Галлии, — открытия, заслуживающие особого внимания, которые в сочетании с выдержками из Плиния раскрывают, по сути, ту настоящую римскую Галлию, роскошные реликвии которой лишь наполовину рассказывают о ее богатстве.

Это грандиозное развитие Галлии, без сомнения, было результатом римского завоевания; но результатом, которого ни Цезарь, ни кто-либо другой из людей его времени не предвидели и не желали, но который Август первым осознал зимой 15-14 гг. до н.э. и которому, каким бы проницательным человеком он ни был, он уделил должное внимание; то есть не как своей собственной заслуге, а как неожиданной удаче. Я уже говорил, что одной из величайших забот Августа, как только закончились гражданские войны, была реорганизация финансов империи; чтобы найти новые поступления в казну, он обратил свое внимание в 27 году до н.э. на провинцию, завоеванную его отцом, рассматривая ее просто с общепринятой точки зрения как бедную и малоценную, как и другие европейские территории. Затем, в одно мгновение, он понял, что эта территория, которую так мало ценили, производила зерно, как Египет, лен, как Египет; что там начали процветать искусства цивилизации, которыми Египет был так богат и знаменит! Август был не из тех людей, которые упускают из виду такую огромную удачу. До тех пор он колебался, как человек, ищущий свой путь; той зимой 15-14 годов до н.э. он, наконец, достиг грандиозной кульминации своей карьеры, превратив Галлию в Западный Египет, провинцию с самыми большими доходами в Европе. С этого времени и до конца своей жизни он не выезжал из Европы; он жил между Италией и Галлией. Подобно ему, Тиберий, Друз, все мужчины его семьи посвятили все свои усилия Галлии, укреплению там римского владычества, продвижению ее прогресса, увеличению доходов, превращению ее фактически в Западный Египет. От Веллея мы узнаем, что при Тиберии Галлия принесла Империи столько же, сколько и Египет, и что Галлия и Египет одинаково считались двумя богатейшими имперскими провинциями.

Поскольку политические интересы поначалу побудили Цезаря аннексировать Галлию, непосредственный финансовый интерес побудил Августа продолжить работу, позаботиться о новой провинции. Тогда исторический закон, который я уже изложил вам, закон, по которому усилия людей приводят совсем не к тому, к чему они стремились, был заново подтвержден также Августом, и в новой форме. Он разработал свою галльскую политику для увеличения доходов Империи; последствия этой фискальной политики, продиктованной необходимостью, были больше, чем он и его друзья когда-либо могли мечтать. Зима 15-14 гг. до н.э. - примечательная дата в истории латинской цивилизации, поскольку тогда судьба Империи была решена безвозвратно; Римская империя будет состоять из двух частей, Восточной и Западноевропейской, каждая из которых будет достаточно сильна, чтобы противостоять захвату другой; это будет не азиатская, не кельто-латинская, а смешанная империя: между обеими частями Италия будет править еще два столетия, и Рим, огромный город, одновременно Восточный и латинский, сохранит столичную корону, завоеванную у ослабленного Востока, и будет доминировать на Востоке. незрелый варварский Запад.

Говоря о Клеопатре, я показал вам, насколько велика была восточная опасность, которая в последнее столетие Республики угрожала стереть Рим с лица земли. Какая чудесная сила спасла его? Галлия. Предположим, что армия Цезаря была уничтожена в Алезии; предположим, что Рим, обескураженный, отказался от своего галльского предприятия, как он поступил с Персией после поражения Красса и провала Антония; или предположим, что Галлия была бедной провинцией, бесплодной и малонаселенной, как многие Придунайские округа; Рим не смог бы долго продержаться в качестве резиденции имперского правительства, точно так же, как сегодня столица Российской империи не смогла бы удержаться во Владивостоке или Харбине. Было бы необходимо перенести столицу в более богатый и густонаселенный регион. То, что Галлия разбогатела и была романизирована, изменило положение вещей. Когда Рим владел за Альпами в Европе провинцией, такой же большой и богатой ресурсами, как Египет; когда в ее защите были заинтересованы так же, как и в защите Египта, Италия была в состоянии управлять обеими. Западный Египет был противовесом Египту Восточному, а Рим, находившийся на полпути между ними, был естественной и необходимой метрополией широко раскинувшейся Империи. Одна только Галлия возродила, так сказать, Империю на Западе и предотвратила превращение европейских провинций — даже самой Италии — в мертвые конечности, которые можно безопасно ампутировать с восточного тела. Галлия поддерживала Италию и Рим в Европе еще на три столетия; Галлия остановила их на пути к азиатским завоеваниям, начатым Александром. Если бы не Галлия, Малая Азия, Сирия и Египет образовали бы настоящую Римскую империю, и Италия затерялась бы в ней: без Галлии Ориентализованная империя попыталась бы завоевать Персию и, вероятно, преуспела бы в этом, покинув бедные и непродуктивные земли дикого Запада. Короче говоря, Галлия создала в Римской империи ту двойственность между Востоком и Западом, которая придает форму всей истории нашей цивилизации; она сохранила искусственную форму Империи, окруженной морским островом; она вдохнула в Империю этот двойной противоречивый дух, латинский и восточный, одновременно ее силу и слабость.

В следующий раз я покажу вам продолжение этой борьбы двух умов в характерном эпизоде - истории императора Нерона. Теперь, прежде чем завершить, позвольте мне кратко изложить вам некоторые общие соображения, почерпнутые из истории Римской Галлии, которые применимы ко всеобщей истории.

Из того, что я вам рассказал, следует, что судьбы народов и государств частично зависят от того, что можно было бы назвать исторической ситуацией каждой эпохи, ситуацией, которая создается общим состоянием мира в каждую последующую эпоху и которую ни один народ или государство не может формировать по своему усмотрению. Без сомнения, нация никогда не достигнет заметного величия, если люди, ее составляющие, не обладают определенной культурой, определенной энергией, достаточно сильным *моральным* духом в обществе; но хотя эти качества необходимы, они не одинаково продуктивны во все периоды, а служат в большей или меньшей степени в разные периоды, в зависимости от того, как складываются общие обстоятельства вокруг народа. Галлия была плодородной, и ее народ до завоевания обладал качествами, которые он проявил позже: и все же, пока Галлия оставалась отдельно от Империи, без постоянных и многочисленных сообщений с обширным средиземноморским миром; пока она была разделена на множество мелких соперничающих государств, занятых серьезными войнами против германских племен, ее плодородие оставалось скрытым в земле, а способности ее жителей растрачивались в опустошительных войнах, вместо того чтобы растрачиваться на плодотворные усилия. Все это изменилось, причем без чьего-либо

предвидения или намерения, когда римская политика, подталкиваемая внутренними силами, взбудоражившими Республику, разрушила этот старый порядок вещей.

Древние понимали, что народы, как и отдельные люди, могут управлять своей судьбой лишь частично; что вокруг нас, над нами действуют силы сложные и неясные, которые мы с трудом можем постичь, которые окружают нас, захватывают нас, толкают нас туда, куда мы и не думали попадать, то к кораблекрушению на скалах несчастий, то к открытию островов счастья или к тому, чтобы найти, подобно Колумбу, Америку на пути в Индию. Греки называли эту силу; латиняне - Фортуной и обожествляли ее; воздвигали храмы и приносили ей жертвы; посвятили ей культ, приверженцем которого был Август и который содержал больше тайной мудрости жизни, чем все великолепные теории о человеческой судьбе, придуманные европейским гением в бреду этой четверти часа безмерного могущества, в котором мы живем. Нет, человек не является добровольным творцом всей своей судьбы; удача и несчастье, триумф и катастрофа никогда не бывают полностью пропорциональны личным заслугам или вине; каждое поколение обнаруживает, что мир организован в определенном порядке интересов, сил, традиций, отношений, и поскольку оно наслаждается благом, достигнутым предыдущими поколениями, это отчасти искупает совершенные ими ошибки; поскольку оно извлекает выгоду из благотворных сил, действующих вне его и независимо от его заслуг, оно страдает от зловещих сил, которые, как оно считает, — даже если само по себе безупречно — действуют через огромную массу мира, среди людей и их произведений. Из этого отношения к невидимому вытекает правило мудрости, о котором современные люди, полные безграничной гордыни и убежденные, что они - начало и конец вселенной, слишком часто забывают: мы действительно должны приложить все наши силы к выполнению великой задачи, ибо, хотя наша судьба никогда не создается полностью нашими руками, на земле нет судьбы для ленивых; но, поскольку часть того, кем мы являемся, зависит не от нас самих, а от того, что древние называли Фортуной, мы никогда не осмеливаемся слишком радоваться успеху или унижаться неудачей. Колесо судьбы вращается по таинственному закону, как для семей, так и для народов: те, кто занимает высокое положение, могут пасть; те, кто занимает низкое, могут возвыситься.

Конечно, Цезарь никогда не подозревал, когда сражался с галлами, что правнуки побежденных будут жить в виллах, построенных по образцу римских, но более роскошных; что знатные галльские вельможи будут иметь удовольствие демонстрировать народу, который их покорил, латинскую империю, более впечатляющую и величественную; и что однажды Галлия, преданная им огню и мечу, превзойдет в империи, богатстве, культуре даже Италию.

Неро

13 октября 54 года н.э., когда умер император Клавдий, сенат избрал его преемником его приемного сына Нерона, семнадцатилетнего юношу, толстого и близорукого, который до тех пор изучал только музыку, пение и рисование. Этот выбор ребенка-императора, которому не хватало имперских качеств и который наводил на мысль о детях-царях восточных монархий, был скандальной новинкой в конституционной истории Рима. Древние историки, особенно Тацит, рассматривали это событие как результат интриги, ловко устроенной матерью Нерона, Агриппиной, дочерью Германика и внучкой Агриппы, строителя Пантеона. Согласно этим историкам, Агриппина, очень амбициозная женщина, убедила Клавдия жениться на ней после смерти Мессалины, хотя она была вдовой и у нее был ребенок, и как только она вошла в особняк императора, она начала открывать путь для избрания своего сына. Чтобы отстранить Британика,

сына Мессалины, от престолонаследия, она убедила Клавдия усыновить Нерона; затем с помощью двух наставников молодого человека, Сенеки и Бурра, создала в сенате и среди преторианцев партию, благоприятствующую ее сыну; как только она почувствовала, что может положиться на сенат и преторианцев, она отравила Клавдия.

Слишком много трудностей мешают нам принять эту версию. Достаточно привести один из них: если Агриппина желала — а она, несомненно, желала, — чтобы ее сын стал преемником Клавдия, она также должна была желать, чтобы Клавдий прожил по крайней мере на восемь или десять лет дольше. Как правнук Друза, внук Германика и последний потомок его линии, единственной линии во всей семье, пользовавшейся реальной популярностью, Нерон был уверен в своем избрании, если бы достиг совершеннолетия на момент смерти Клавдия. После ужасного скандала, в результате которого исчезла его мать, Британик больше не был конкурентом, которого следовало опасаться. Для Нерона существовала только одна опасность: если Клавдий умрет слишком рано, сенат может отказаться доверить Империю ребенку.

Я полагаю, что Клавдий умер от болезни, вероятно, если судить по рассказу Тацита, от гастроэнтерита, и что окружение Агриппины, удивленное этой внезапной смертью, расстроившей все их планы, решило провести выборы Нерона, несмотря на его молодость, чтобы обеспечить власть линии Друзов, которая пользовалась такой большой симпатией в массах. На самом деле восхищение Друзом и его семьей восторжествовало над всеми остальными соображениями: Нерон стал императором в семнадцать лет; но когда выборы завершились, Рим — опять же, согласно рассказам древних историков — стал свидетелем еще большего скандала, чем его избрание. Молодой человек — и это заслуживает доверия — поспешил нанять своим учителем первого цитриста Рима Терпноса; продолжил обучение пению; и купил статуи, картины, бронзу, красивых рабынь, в то время как фактический контроль над государством взяла в свои руки его мать.

Агриппина настаивала на том, чтобы ее держали в курсе всех дел; руководила внутренней и внешней политикой; и если ей не удавалось принять участие в заседаниях Сената, что вызвало бы величайший скандал, она созывала его в своем дворце и, спрятавшись за черным занавесом, слушала обсуждения. Короче говоря, Империя попала в руки женщины; Рим стал свидетелем эволюции обычаев, благодаря которой женщина на протяжении четырех столетий освобождалась от своего древнего рабства, и внезапно этот факт свершился благодаря ее видимому вмешательству в политику — вмешательству, которое великие хранители традиций, в первую очередь Катон, всегда осуждали как самый страшный катаклизм, который мог угрожать городу.

Эта история также является преувеличением более простой истины. Даже если бы Нерон был очень серьезным молодым человеком, в его возрасте он не смог бы сам управлять империей; ему было бы необходимо пройти долгое ученичество и прислушиваться к опытным советникам. Бурру и Сенеке, двум его учителям, естественно, было суждено стать его советчиками; но почему бы и матери не помочь ему? Как и все женщины в ее семье, Агриппина отличалась незаурядным умом, высокой культурой и, по признанию самого Тацита, вела самую респектабельную жизнь, по крайней мере, до момента своего замужества с Клавдием. Воспитанная в семье, которая в течение восьмидесяти лет управляла Империей, она была хорошо осведомлена о государственных делах. Возможно ли предположить, что такая женщина заперлась бы в своем доме и ткала шерсть, когда с ее талантом, энергией, опытом она могла бы

так много послужить своему сыну и государству? Нам не нужно приписывать Агриппине чудовищные амбиции, как это делает Тацит, чтобы объяснить, как Сенека, Бурр и Агриппина управляли Империей в течение первых двух лет; это было естественным следствием ситуации, сложившейся в результате преждевременной смерти Клавдия. Сам Тацит вынужден признать, что правительство было превосходным.

Помогая своему сыну в обучении Империи, Агриппина выполняла свой долг; но в беспокойные времена, когда непонимание стало почти законом общественной жизни, выполнять свой долг часто бывает очень опасно. Период Агриппины и Нерона был полон смятения; хотя внешне Италия была спокойной, ее глубоко раздирала великая борьба, которая придает истории Империи удивительный характер действительности, борьба между древнеримским военным обществом и интеллектуальной цивилизацией Востока.

Древнее аристократическое и военное римское общество имело настолько большой успех во всем мире, что идеи, институты и обычаи, которые сделали его совершенной моделью государства, рассматриваемого как орган политического и военного господства, пользовались большим авторитетом у последующих поколений. Даже в то время, о котором мы говорим, каждый был вынужден после восьми лет мира признать, что Империя была создана этими идеями, этими институтами и этими обычаями; что ради блага Империи они должны поддерживаться, и как в семье, так и в государстве должно быть противопоставлено всему, что составляет сущность интеллектуальной цивилизации; то есть всему, что развивает личный эгоизм в ущерб коллективным интересам — роскоши, праздности, удовольствиям, безбрачию, феминизму, и в то же время всему, что развивает личность и интеллект в ущерб традициям — свободе женщин, независимость детей, разнообразие личных склонностей и критический настрой во всех формах.

Несмотря на сопротивление традиций, мир и богатство повсюду способствовали распространению интеллектуальной цивилизации эллинизированного Востока. Женщина, ставшая теперь свободной, и интеллектуальный мужчина, ставший могущественным, были пружинами, приведшими в движение эту революцию. При Клавдии напрасно ссылали Сенеку, блестящего философа и сторонника мира, гуманиста, который распространил в высшем римском обществе так много идей и настроений, которые традиционалисты считали пагубными для государственной силы; он вернулся гораздо более могущественным и правил Империей. Мужья, обремененные непомерными расходами, слишком частыми изменами, тираническими капризами своих жен, напрасно сожалели о добром старом времени, когда мужья были полновластными хозяевами; вторгшийся феминизм повсюду ослаблял силу аристократических и военных традиций.

Итак, противоречия были повсюду. Республика все еще сохраняла свою старую аристократическую конституцию, но дворянство больше не подстегивалось той всепоглощающей и исключительной страстью к политике и войне, которая была его силой. Светская жизнь, удовольствия, любительская философия и литература, мистицизм и, прежде всего, спорт рассеивали его энергию и активность по тысяче направлений. Среди знати было слишком много молодых людей, которые, подобно Нерону, предпочитали петь, танцевать и водить машину заботе о своих клиентах или терпению неприятностей, связанных с государственной должностью.

Август и Тиберий сделали все возможное, чтобы укрепить великий латинский принцип бережливости в общественной и частной жизни: чтобы подать хороший пример, они жили очень просто; они приняли новые законы о роскоши и пытались обеспечить соблюдение старых; они тратили государственные деньги не на содержание художников и писателей, не на возведение бесполезных по размеру памятников, а на строительство великих дорог Империи, на укрепление границ; они превратили общественное достояние в фонд помощи всем страждущим городам, пострадавшим от землетрясения, пожара и т.д. , или наводнение. И все же восточное влияние, столь благоприятствующее непроизводительным и роскошным тратам, неуклонно укреплялось. Торговец сирийскими и египетскими предметами *роскоши*, несмотря на законы о роскоши, находил с каждым годом все большее покровительство во всех городах Италии. Требовательность к публичным зрелищам возросла даже во второстепенных городах. Итальянский народ утрачивал свою крестьянскую мелочную жадность и начинал любить все монументальное и колоссальное, что было величайшей глупостью Востока. Памятники Рима казались им бедными; повсюду, даже в скромных *муниципалитетах*, они требовали огромных театров, величественных храмов, монументальных базилик, просторных форумов, украшенных статуями. Несмотря на принципы, на которых с такой энергией настаивали Август и Тиберий, государственные финансы, благодаря слабому Клавдию и экстравагантной Мессалине, уже пережили период больших трат и беспорядка.

Эти противоречия и последовавшее за ними психологическое расстройство объясняют разногласия и борьбу, которые очень скоро разгорелись вокруг молодого императора. Общественность была шокирована вниманием, которое Агриппина уделяла государственным делам, как новым и на этот раз невыносимым скандалом феминизма. На самом деле Агриппина была не феминисткой, а традиционалисткой, гордящейся славой своей семьи, приверженной древнеримским идеям, желавшей только видеть, как ее сын превратится в нового Германика, второго Друза. Исключительно необходимость помочь Нерону заставила ее вмешаться в политику. Но не напрасно Катон так громко выступал в Риме против женщин, претендующих на управление государствами; не напрасно господство Августа было, по крайней мере частично, основано на великой антифеминистской легенде об Антонии и Клеопатре, которая представляла падение великого триумвира как следствие влияния женщины. Общественность, хотя и была готова предоставить женщинам всю возможную свободу в других вещах, все же оставалась достаточно твердой в этом вопросе: политика должна оставаться монополией мужчины. Таким образом, в народном воображении Агриппина вскоре превратилась в своего рода римскую Клеопатру. Многие интересы быстро объединились, чтобы усилить эту антифеминистскую реакцию, которая, хотя и преувеличенная, происходила из искренних чувств.

Агриппина, как истинный потомок Друза, намеревалась подготовить своего сына к управлению Империей в соответствии с принципами, которых придерживались его великие предки. К числу этих принципов следует отнести не только защиту романизма и поддержание аристократической конституции, но и мудрую экономию в управлении финансами. Агриппина является хорошим примером того хорошо известного факта — британцы не раз замечали это в Индии, — что в государственном управлении сдержанные и способные женщины, как правило, сохраняют дух экономии, с которым они управляют домом. Вот почему, особенно в деспотических государствах, они правят лучше, чем мужчины. Еще до смерти Клавдия Агриппина решительно выступала против расточительства и грабежа; также представляется, что реорганизация финансов после смерти Мессалины была в основном ее заслугой.

Продолжение при Нероне этого сурового режима вызвало недовольство большого числа людей, которые мечтали снова увидеть легкое правление Мессалины. С того момента, как они убедились, что Агриппина, подобно Августу и Тиберию, не допустит кражи государственных денег, многие люди сочли ее настойчивое вмешательство в государственные дела невыносимым. Короче говоря, Агриппина стала непопулярна, и, как это всегда бывает, из-за недостатков, которых у нее не было. Благородный поступок, который она пыталась совершить в защиту традиций, окончательно скомпрометировал ее положение.

Ее сын не походил ни на Агриппину, ни на великих людей из ее семьи. У него был в высшей степени индоссибельный темперамент, непокорный традициям, ни в коем случае не римский. Мало-помалу Агриппина увидела, как молодой император превращается в не по годам развитого *развратника*, ужасно эгоистичного, непостоянно тщеславного, полного экстравагантных идей, который, вместо того чтобы подавать пример уважения к законам роскоши, открыто нарушал их все; и в чьем уме время от времени вспыхивали зловеющие молнии жестокости. Юность Нерона — и это неудивительно — не устояла перед смертными соблазнами огромной власти и несметных богатств; но Агриппину, гордую внучку завоевателя Германии, должно быть, раздражала мысль о том, что ее сын предпочитает музыкальные развлечения заседаниям Сената, уроки пения изучению тактики и стратегии.

Поэтому она приложила всю свою энергию к тому, чтобы оторвать своего сына от его удовольствий и вернуть его к великим традициям своей семьи. Нерон сопротивлялся: борьба между матерью и сыном усложнялась; это возбуждало страсть общественности, которая чувствовала, что этот конфликт имеет большее значение, чем любая другая семейная ссора, что на самом деле это была борьба между традиционным романизмом и восточными обычаями. К сожалению, все встало на сторону Нерона: искренние друзья традиций, потому что они не хотели правления женщины, кем бы она ни была; те, кто тосковал по временам Мессалины, потому что видели в Агриппине воплощение сурового и непреклонного *духарода Клавдиев*. Вскоре ситуация разрешилась без каких-либо проблем. Согласие Агриппины с Сенекой и Бурром было нарушено, потому что два учителя молодого императора под впечатлением общественного недовольства несколько отделились от нее. Нерон, который был угрюмым, циничным и ленивым, слишком сильно боялся своей матери, чтобы набраться смелости открыто выступить против нее, но он боялся ее недостаточно, чтобы изменить свои привычки. Мать, со своей стороны, была настроена выполнить свой долг до конца. Как и во всех ситуациях без проблем, эта внезапно разрешилась благодаря неожиданному событию.

Настаивая на желании сделать из этого молодого *развратника* римлянина, Агриппина превратила его в убийцу. Нерон, переходя от одного каприза к другому, в конце концов придумал великую глупость: развестись с Октавией и возвести на ее место прекрасную вольноотпущенницу по имени Акте. Согласно одному из основополагающих законов государства, великому закону Августа о браке, запрещавшему браки между сенаторами и вольноотпущенницами, союзом Нерона и Акты могла быть только наложница. Агриппина хотела избежать этого скандала; и поскольку Нерон настаивал на своей идее, похоже, она действительно думала о том, чтобы свергнуть его и добиться выбора Британика, очень серьезного молодого человека, в качестве его преемника. Истинная римлянка, Агриппина была готова пожертвовать своим сыном ради Республики.

Угроза была или казалась Нерону настолько серьезной, что заставила его переступить порог преступления. Однажды во время пышного обеда, на который он был приглашен Нероном, Британика внезапно охватили сильные конвульсии. "Это приступ эпилепсии", - спокойно сказал Нерон, отдавая приказ своим рабам унести Британика и позаботиться о нем. Молодой человек умер через несколько часов, и все поверили, что Нерон отравил его.

Это подлое преступление поначалу вызвало у людей чувство ужаса, но это впечатление длилось недолго. Несмотря на все его недостатки, Неро нравился. В Риме уважали Августа и ненавидели Тиберия; они убили Калигулу и глумились над Клавдием; Нерон, казалось, был первым из римских императоров, у которого был шанс стать популярным. Вопреки идеям Агриппины, именно его легкомыслие нравилось широким массам, потому что это легкомыслие соответствовало медленному, но прогрессирующему угасанию в них старых римских добродетелей. Они ожидали от Нерона менее жесткого, менее сурового, менее бережливого правления — словом, правления менее римского, чем правление его предшественников, правления, которое вместо силы, славы и мудрости означало удовольствие и непринужденность.

Так получилось, что многие вскоре забыли несчастного Британика, а некоторые даже пытались оправдать Нерона, ссылаясь на государственную необходимость. Одна Агриппина оставалась объектом всеобщей ненависти, как единственная причина стольких несчастий. Непримириемые враги, скрытые в тени, изощренно действовали против нее; они организовали кампанию абсурдной клеветы при самом Дворе, и именно из этой кампании Тацит черпал свой материал.

Какие-то негодяи в конце концов осмелились даже обвинить ее в заговоре против жизни ее сына. Агриппина, отказываясь вступаться за себя, все же выдержала бурю, потому что Нерон боялся ее и, хотя пытался вырваться из-под ее власти, не осмеливался предпринять какие-либо энергичные действия против нее. Чтобы вступить в последнюю схватку с такой неукротимой женщиной, нужна была другая женщина. Этой женщиной была Пoppея Сабина, очень красивая и способная дама из знати Рима. Пoppея представляла восточный феминизм в его наиболее опасной форме: женщину, полностью деморализованную роскошью, элегантностью, светской жизнью и сладострастием, которая пренебрегала всеми своими обязанностями по отношению к человечеству, чтобы наслаждаться своей красотой и заставлять других наслаждаться ею.

Каким бы развращенным ни был тот век, Пoppея была еще более развращенной. Как только она заметила, какое сильное впечатление произвела на Нерона, у нее возник план стать его женой; тогда ее красотой восхищалась бы вся империя, она была бы окружена роскошью, для которой средств ее мужа было недостаточно и с которой не могла соперничать ни одна другая римская дама. Было одно препятствие — Агриппина.

Агриппина защищала Октавию, истинную римлянку, простую и честную: Агриппина никогда бы не согласилась на этот абсолютно неоправданный развод. Чтобы вынудить Нерона к решительному шагу против своей матери, Пoppея отправила своего мужа с какой-то миссией в Лузитанию и стала любовницей императора. С этого момента ситуация изменилась. Находясь под влиянием Пoppеи, Нерон нашел в себе мужество заставить Агриппину покинуть его дворец и искать убежища в доме Антония; он отнял у нее привилегию преторианской стражи, которую он сам ей предоставил; он сократил до минимума количество и время своих визитов и тщательно избегал оставаться с ней наедине. Влияние Агриппины, ко всеобщему удовлетворению, быстро падало, в то время как популярность Нерона росла с каждым днем.

Агриппина, однако, была слишком энергичной женщиной, чтобы мирно смириться: она начала яростную кампанию против двух прелюбодеев, что глубоко взволновало общественность. В Риме, где Август обнародовал свой суровый закон против супружеской неверности; в Риме, где сам Август был вынужден подчиниться своему собственному закону, когда сослал свою дочь и внуку и почти истребил всю семью; в Риме двадцатидвухлетний молодой человек осмелился практически официально ввести супружескую неверность и полигамию на Палатине! В своей борьбе с Нероном Агриппина снова опиралась на традицию, и Нерон испугался.

Вероятно, именно Пoppея подсказала Нерону идею убить Агриппину. Эта идея долгое время как бы витала в воздухе, потому что Агриппина ставила в неловкое положение многих людей и интересы многих заинтересованных лиц. Главным образом, это была партия, которая хотела разграбить имперский бюджет, ввести финансирование больших расходов, которая не могла терпеть эту умную и энергичную женщину, которая была так верна великим традициям Августа и Тиберия, которую нельзя было ни запугать, ни развратить. Не следует рассматривать убийство Агриппины как простое личное преступление Нерона, как результат его ссор с матерью и Пoppеей. Это преступление, помимо личных мотивов, имело политическое происхождение. Нерон никогда бы не осмелился совершить такой проступок, в глазах римлян почти святотатство, если бы его не поощряла непопулярность Агриппины, яростная ненависть стольких людей к его матери.

Нерон долго колебался; он принял решение только тогда, когда его вольноотпущенник Аницет, командующий флотом, предложил план, который, казалось, гарантировал секретность преступления: построить корабль со скрытой ловушкой. Была весна 59 года нашей эры; двор переехал в Байи, на берегу Неаполитанского залива. Если Нерону удастся доставить свою мать на борт корабля, Аницет возьмет на себя задачу быстро похоронить под волнами тайну ее смерти; люди, ненавидевшие Агриппину, легко удовлетворятся теми объяснениями, которые им будут даны.

Нерон выполнил свою часть плана с совершенным хладнокровием. Он сделал вид, что раскаялся и жаждет примирения со своей матерью; он пригласил ее в Байи и так щедро расточал ей доброту и дружелюбие, что Агриппина наконец поверила в его искренность.

Проведя несколько дней в Байях, Агриппина решила вернуться в Анций; в очень счастливом расположении духа и полная надежд на то, что ее сын вскоре явит себя миру мужчиной, о котором она мечтала, потомком Друза, она однажды вечером поднялась на борт рокового корабля; Нерон проводил ее туда и прижал к своему сердцу с самой демонстративной нежностью.

Тихая ночь рассеивала свои звездные тени над тихим морем, которое с приглушенным журчанием убаюкивало своим сном большие летние дома на берегу. Корабль отчалил, унося навстречу своей мрачной судьбе Агриппину, погруженную в свои улыбающиеся мечты. Когда настал момент и аварийно-спасательная машина была приведена в действие, судно затонуло не так быстро, как они надеялись: оно накренилось, опрокидывая людей и вещи. У Агриппины было время осознать опасность; с замечательным присутствием духа она прыгнула за борт и спаслась вплавь, в то время как во время неразберихи на лодке наемные убийцы убили одну из вольноотпущенниц Агриппины, приняв ее за саму Агриппину. Корабль, наконец, затонул; убийцы тоже спустились на воду; все вернулось к своему обычному спокойствию; звездная ночь

по-прежнему рассеивала свои безмолвные тени; море по-прежнему баюкало приглушенным шепотом дома вдоль побережья — все люди спали, кроме одного.

В этом человеке чувствовалась тревога: сын ожидал известия о смерти своей матери и о том, что он может отпраздновать преступный брак. Сбежавшие убийцы вскоре принесли столь нетерпеливо ожидаемые новости — но радость Нерона была недолгой. На рассвете на виллу императора прибыл вольноотпущенник Агриппины. Агриппине, подобранной лодкой, удалось добраться до одной из своих вилл неподалеку; она послала вольноотпущенника рассказать императору о несчастном случае и заверить его в ее безопасности. Агриппина жива! Для Нерона это было подобно удару грома, и он потерял голову: он увидел, как его мать спешит в Рим, осуждая гнусное покушение на Сенат и народ, поднимая против него преторианскую гвардию и легионы. Совершенно напуганный, он призвал Сенеку и Бурра и изложил им ужасную ситуацию. Легко представить себе потрясение древних наставников. Как он мог пойти на такую серьезную неосторожность? И все же нельзя было терять времени на упреки. Нерон попросил совета: Сенека и Бурр молчали, но они, тоже напуганные, спрашивали себя, что бы сделала Агриппина. Не спровоцирует ли она колоссальный скандал, который все испортит? Им обоим пришла в голову одна и та же мысль, но она была настолько зловещей, что они не осмелились высказать ее вслух. Однако на этот раз и философ, и полководец были обмануты так же, как и Нерон: Агриппина догадалась об истине и отказалась от борьбы. Что могла она, одинокая женщина, сделать против императора, который не остановился даже перед планом убийства своей матери? В ту ужасную ночь она поняла, что у нее остался только один шанс на спасение — не обращать внимания на то, что произошло; и она отправила своего вольноотпущенника с посланием, которое означало прощение. Но страх мешал Нерону и его советникам понять это; и когда они могли бы легко исправить предыдущую ошибку, они скомпрометировали себя величайшей ошибкой. Наконец Сенека, миротворец и философ-гуманист, решил, что нашел способ полуоткрыто высказать единственное предложение, которое казалось ему мудрым: он повернулся к Бурру и спросил, что могло бы произойти, если бы преторианцам был отдан приказ убить мать Нерона. Бурр понимал, что его коллега, хотя и первым дал роковой совет, пытался переложить на него гораздо более серьезную ответственность за его выполнение; поскольку, если они придут к решению отдать преторианцам Агриппину, никто, кроме него, командира стражи, не сможет отдать приказ. Поэтому он с величайшей энергией протестовал против того, чтобы преторианцы никогда не подняли руки убийцы на дочь Германика. Затем он многозначительно добавил, что, если бы это было сочтено необходимым, Аницет и его матросы могли бы завершить уже начатую работу. Таким образом, Бурр дал тот же совет, что и Сенека, но он, как и его коллега, намеревался переложить на кого-то другого задачу исполнения. Он сделал лучший выбор, чем Сенека: Аницет, если бы Агриппина была жива, серьезно рисковал стать козлом отпущения во всем этом деле. На самом деле, как только Нерон дал свое согласие, Аницет и несколько матросов поспешили на виллу Агриппины и закололи ее.

Преступление было отвратительным. Нерон и его окружение были настолько потрясены этим, что попытались заставить людей поверить, что Агриппина покончила с собой, когда был раскрыт ее заговор против жизни сына. Это была официальная версия смерти Агриппины, отправленная Нероном в Сенат. Но эта дерзкая мистификация не имела успеха. Публика догадалась об истине и, побуждаемая голосом своих вековых инстинктов, закричала, что император не меньше, чем любой крестьянин Италии, должен почитать своего отца и свою мать. Благодаря внезапному повороту общественных чувств Агриппина, которую при жизни так

сильно ненавидели, стала объектом своего рода народного почитания; Нерон, с другой стороны, и Поппея внушали чувство глубокого ужаса.

Если живая Агриппина казалась Нерону невыносимой, то вскоре он понял, что его покойной матери следовало опасаться гораздо больше. На самом деле, напуганный народным волнением, он не только временно отказался от плана развестись с Октавией и жениться на Поппее, но и почувствовал себя обязанным остаться на несколько месяцев в Байях, не осмеливаясь вернуться в Рим. Однако он уже не был ребенком: ему было двадцать три года, и он обладал некоторым талантом. В его *окружении* также не было недостатка в умных и энергичных людях. Когда первое потрясение прошло, император и его окружение сплотились. Первое впечатление действительно было катастрофическим, но не повлекло за собой непоправимых последствий — единственных последствий, которые имеют значение в политике. Поэтому можно было надеяться, что общественность постепенно забудет это убийство, как они забыли убийство Британика. Нужно было только помочь им забыть. Нерон решил устроить в Италии и Риме административную революцию, которая нашла в Агриппине столь решительного противника, создать легкое, великолепное, щедрое правительство, которое, казалось, соответствовало народному вкусу.

Он начал с организации среди *молодых женщин* Рима "фестивалей молодежи". На этих подлинных демонстрациях против старого аристократического воспитания, проходивших то в доме одного, то в саду другого, молодые патриции встречались по указанию императора. Они пели, декламировали и танцевали, демонстрируя все те наклонности, которые традиция считала недостойными римского дворянина. Позже Неро построил на полях Ватикана частный стадион, где развлекался вождением, и пригласил своих друзей присоединиться к нему. Он окружил себя поэтами, музыкантами, певцами; чрезвычайно увеличил бюджет популярных фестивалей; спланировал и начал грандиозные строительные работы; внедрил во все части администрации новый дух беззаботности и непринужденности. Не только законы о роскоши, но и все законы, предписывающие выполнение человеческих обязанностей по отношению к роду, такие как великие законы Августа о браке и прелюбодеянии, больше не применялись; надзор Сената за губернаторами, а губернаторов - за городами ослаб. В Риме, по всей Италии, в провинциях были разграблены казначейства Республики, имущество и фонды городов. Посреди этого необузданного грабежа, который, казалось, делал каждого человека богатым быстро и без труда, царило безумие роскоши и удовольствий: особенно в Риме люди жили в непрерывных оргиях; знать толпами откликалась на приглашения Нерона; Сенат, великие дома, где родились завоеватели мира, кишели молодыми спортсменами и возницами, у которых не было других амбиций, кроме как добавить приз в скачках к военным трофеям своих предков; императорский дворец был захвачен шумной ордой циркачей, актеров, танцовщиц, жокеи, атлеты, среди которых Бурр и, в еще большей степени, Сенека, начинали чувствовать себя крайне неловко.

Смерть Агриппины, хотя и отсрочила женитьбу Нерона на Поппее, сделала возможной смену правительства, которой желала часть народа. Этому новому принципу мы обязаны огромными руинами древнего Рима; но этот факт не дает нам права считать его римским принципом: напротив, это был принцип восточной цивилизации, который навязался римским традициям после долгих и болезненных усилий. Революция, однако, долго готовилась и соответствовала народным чаяниям. Таким образом, это пошло бы на пользу императору, который осмелился нарушить устаревшую традицию, если бы призрак Агриппины все еще не преследовал Рим. К их

честь, следует сказать, что народ Рима и Италии еще не настолько развратился восточной цивилизацией, чтобы забыть об отцеубийстве за несколько праздников.

Партия традиции, хотя и ослабленная, все же существовала. Они начали храбрую борьбу против Нерона, используя убийство Агриппины, поскольку противная сторона использовала антифеминистские предрассудки масс против самой Агриппины. Они осудили отцеубийство перед народом, чтобы напасть на поборника ориентализма и возбудить против него равнодушную массу, которая, не понимая великой борьбы между Востоком и Римом, оставалась невозмутимой. Надеясь, что душевное волнение несколько улеглось, Нерон, наконец, осуществил свой старый план развестись с Октавией и жениться на Пoppее; но развод вызвал в Риме массовые демонстрации в защиту оскорбленной жены и против злоумышленника.

Более того, благодаря своей экстравагантности Нерон очень облегчил задачу своим врагам, защитникам традиций. Его привычка к распутству преувеличивала все недостатки его характера, главным образом его болезненную потребность выставлять себя напоказ, бросать вызов публике, ее предрассудкам, их мнениям. Трудно различить, сколько правды и сколько лжи в отвратительных историях о разврате, дошедших до нас от древних авторов, особенно Светония.

Хотя кто-то может поверить - и я, со своей стороны, верю в это, — что в подобных рассказах много преувеличения, несомненно, что личность Нерона сыграла слишком заметную роль в его административной революции. Хотя народ был готов восхищаться более щедрым и роскошным правительством, чем правительство Августа, Тиберия и Клавдия, ему все же нравилось смотреть на главу государства как на человека серьезного и аскетичного, который позволяет другим развлекаться, хотя ему самому скучно. Тщеславный и эксцентричный молодой человек, который всегда был почетным гостем на своих собственных праздниках, который никогда не стеснялся удовлетворять свои самые экстравагантные прихоти, который тратил столько денег, чтобы развлечься, шокировал последних республиканцев Италии. Мудрецы встревожились: не закончится ли все это банкротством при таких расходах? По всем этим причинам вскоре они начали упрекать Нерона в его расточительности, хотя народу это нравилось, точно так же, как они были недовольны Тиберием за его скупость. Его капризы, становившиеся все более странными, мало-помалу будоражили даже ту часть публики, которая не была фанатично привязана к традициям. В то время у Нерона развилось его глупое актерское тщеславие, его пристрастие к театру, которому вскоре предстояло превратиться во всепоглощающую манию. Глава Империи, наследник Юлия Цезаря, не мечтал ни о чем другом, как спуститься с высоты человеческого величия на театральную сцену, чтобы испытать перед публикой ощущения тех актеров, которых римская знать всегда считала орудиями позорного наслаждения!

Испытывая отвращение к бесхозяйственности и безумствам Нерона, Сенека воспользовался смертью Бурра как возможностью уйти в отставку. Тогда Нерон, освободившись от последнего человека, который еще сохранял на него какое-либо влияние, полностью отдался безумному водовороту своих капризов. Однажды он закончил тем, что выступил в неаполитанском театре. Неаполь тогда еще был греческим городом. Нерон выбрал его именно по этой причине; ему неистово аплодировали. Но итальянцы из других городов протестовали: глава Империи появляется в театре, его рука лежит на цитре, а не на мече! Представьте, какое было бы

впечатление, если бы однажды соверен вышел на сцену *фоли-Бержер* в качестве "номера" для спектакля с ловкостью рук!

Внимание общественности, однако, было отвлечено от этого грандиозного скандала страшным бедствием — знаменитым пожаром в Риме, который начался девятнадцатого июля 64 года и в течение десяти дней опустошал почти все кварталы города. Что стало причиной великой катастрофы? Этот очень неясный момент очень заинтересовал историков, которые тщетно пытались пролить свет на этот предмет. Что касается меня, я ни в коем случае не исключаю гипотезу о том, что пожар мог быть случайным. Но когда они раздавлены тяжестью большого несчастья, люди всегда уверены, что они жертвы человеческого зла: печальное доказательство их недоверия к своим собратьям. Плебеи, доведенные катастрофой до крайнего отчаяния, начали роптать, что видели, как таинственные люди спешили по разным кварталам, разжигая огонь и затрудняя работу спасателей; эти поджигатели, должно быть, были посланы кем—то, стоящим у власти, - кем?

Ходили странные слухи: сам Нерон приказал сжечь город, чтобы насладиться уникальным зрелищем, получить представление о пожаре Трои, прославиться восстановлением Рима в более величественном масштабе. Обвинение кажется мне абсурдным. Нерон был преступником, но он не был настолько глуп, чтобы вызывать гнев всего народа по столь незначительному поводу, особенно после смерти Агриппины. Сам Тацит, несмотря на свою ненависть ко всей семье цезаря и готовность возложить на них ответственность за самые тяжкие преступления, не осмеливается выразить веру в эту историю — достаточное доказательство того, что он считает ее абсурдной и неправдоподобной. Тем не менее ненависть, окружавшая Нерона и Пoppею, заставила каждого, не только среди невежественного населения, но и среди высших классов, с готовностью принять это. Вскоре сложилось общее мнение, что Нерону удалось то, чего не смогли сделать заговорщики Бренна и Катилины. Видели ли когда-нибудь более ужасное чудовище? Отцеубийца, актер, зажигательный!

Партия традиционалистов, оппозиция, неудовлетворенные без зазрения совести эксплуатировали это общественное отношение, и Нерон, ответственный за достаточное количество реальных преступлений, оказался обвиненным еще и в мнимом. Он был так напуган, что решил дать кричащему народу жертву, кого-нибудь, кому Рим мог бы отомстить за свое горе. Было приказано провести расследование причин пожара. Следствие пришло к странному выводу. Пожар был устроен небольшой религиозной сектой, недавно привезенной с Востока, сектой, название которой большинство людей тогда узнали впервые: христиане.

Как римские власти пришли к такому выводу? Это одна из величайших загадок всемирной истории, и никто никогда не сможет ее разгадать. Если объяснение катастрофы, принятое народом, было абсурдным, то официальное объяснение было еще более абсурдным. Христианская община Рима, мнимый вулкан гражданской ненависти, изливший разрушительный огонь на великую столицу, была небольшим и мирным собранием благочестивых идеалистов.

Великий и простой человек, Павел из Тарса, снова взялся среди них за великую работу, в которой потерпели неудачу Август и Тиберий: он стремился переделать народное сознание, но использовал средства, до тех пор неизвестные греко-латинской цивилизации. Не во имя предков, традиций, идеалов политической власти он стремился убедить людей трудиться,

воздерживаться от порока, жить честно и просто; но во имя единого Бога, которого человек вначале оскорбил своей гордыней, во имя Сына Божьего, принявшего человеческий облик и добровольно согласившегося умереть как преступник на кресте, чтобы умиловать гнев Отца против непокорного создания. К греко-римской идее долга Павел привил христианскую идею греха. Несомненно, новое богословие поначалу должно было показаться непонятным грекам и римлянам; но Павел вложил в него тот новый дух взаимной любви, который сухая латинская душа едва ли когда-либо знала, и он оживил его примером темной жертвенной жизни.

Павел родился в знатной еврейской семье из Тарса и был человеком высокой культуры. Он, выражаясь современным языком, упростил себя, отказался от своего положения во времена, когда мало кто мог устоять перед страстью к роскоши, и занялся ремеслом, зарабатывая себе на жизнь; получая скудную прибыль от своей работы изготовителя палаток, в одиночку и пешком он совершал бесконечные путешествия по Империи, повсюду проповедуя искупление человека. Наконец, после бесчисленных приключений и опасностей он прибыл в Рим и в огромном городе, обезумевшем от роскоши и удовольствий, повторил беднякам, которые одни были готовы его слушать: "Будьте целомудренны и непорочны, не обманывайте друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу, любите Бога".

Если бы Нерон знал это маленькое общество благочестивых идеалистов, он, несомненно, возненавидел бы его, но по другим мотивам, а не из-за воображаемых обвинений своей полиции. В этой истории святой Павел является полной противоположностью Нерону. Последнее олицетворяет чудовищный эгоизм богатых, мирных, высокоцивилизованных эпох; первое - пылкий моральный идеализм, который пытается противостоять кардинальным порокам власти и богатства посредством всеобщего самопожертвования и аскетизма. Ни одного из этих людей нельзя понять без другого, потому что моральная доктрина Павла отчасти является реакцией на жестокое безумие, символом которого был Нерон; но, конечно, не философские соображения такого рода привели римские власти в ярость против христиан. Проблема, повторяю, неразрешима. Как бы то ни было, христиане были объявлены ответственными за пожар; многие были взяты под стражу, приговорены к смертной казни, казнены различными способами во время празднеств, которые Нерон устраивал народу, чтобы умиловать его. Возможно, сам Павел был одной из жертв этого преследования.

Однако это отвлечение не принесло пользы. Пожар окончательно погубил Нерона. С пожара начинается третий период его жизни, который длится четыре года. Для нее характерны всевозможные абсурдные преувеличения, которые ускорили неизбежную катастрофу. В нем доминирует одна грандиозная идея: построить на руинах новый Рим, огромный и великолепный, настоящую метрополию Империи. Чтобы осуществить этот план, Нерон не стал экономить; он начал тратить на него деньги, отложенные для выплаты жалованья легионам. Однако народ Италии и даже Рима, разбогатевший на этих государственных расходах, не выказал благодарности за эти огромные архитектурные усилия. Все были уверены, что новый город будет хуже старого!

Сам Нерон, раздраженный этой непобедимой ненавистью, измученный собственными эксцессами, потерял остатки разума, и его правительство выродилось в полную тиранию, подозрительную, жестокую.

Заговор Пизона заставил его отдать приказ о резне патрициев, что оставило за собой ужасную злобу; в припадке ярости он убил Поппею; он начал придумывать обвинения против богатейших

людей Империи, чтобы конфисковать их поместья. Его расточительность и общая беспечность полностью дезорганизовали финансы Империи; ему приходилось прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы найти деньги. Наконец, он предпринял большое артистическое турне по Греции — этой провинции, которая была матерью искусств, — чтобы играть в ее самых знаменитых театрах. На этот раз возмущению не было предела. Армии Галлии и Испании, которым долгое время нерегулярно платили, во главе со своими офицерами, восстали. Этого энергичного акта было достаточно. 9 июня 68 года нашей эры, покинутый всем миром, Нерон был вынужден покончить с собой.

Итак, семья Юлия Цезаря исчезает из истории. После стольких величий, гениальности и мудрости падение может показаться мелким и почти смехотворным. Абсурдно терять Империю ради удовольствия петь в театре. И все же, каким бы странным ни казался конец, он был результатом не только пороков, безумия и преступлений Нерона. В своем роде сам Нерон, как и все члены его семьи, был жертвой противоречивой ситуации своего времени.

На протяжении веков повторялось, что основание монархии было великой миссией семьи Цезаря. Я считаю это большой ошибкой. Судьба семьи была бы простой и облегченной, если бы ей удалось основать монархию. Семье Цезаря пришлось решать другую проблему, гораздо более сложную, фактически неразрешимую; проблему, которую с определенной точки зрения можно сравнить с той, с которой столкнулись Бонапарты в девятнадцатом веке. Бонапарты обнаружили, что старая монархическая, легитимистская, теократическая Европа взбудоражена силами, которые, хотя и сделали невозможным продолжение древнего режима, все же не смогли создать новое общество, полностью демократическое, республиканское и светское. Семья Цезаря столкнулась с противоположной ситуацией: старая военная и аристократическая республика, которая превращалась в интеллектуальную и монархическую цивилизацию, основанную на равенстве, но противостоящую мощному сопротивлению силам трансформации. В этих ситуациях две семьи пытались всеми способами примирить то, что не поддавалось примирению, реализовать невозможное: одна - народную монархию и имперскую демократию; другая - монархическую республику и ориентализированную латиноамериканскую. Противоречие было для обеих семей законом жизни, причиной величия; это объясняет, почему ни одна из них никогда не желала выпутываться из него, несмотря на советы философов, недовольство масс, давление партий и очевидные опасности. Это противоречие также стало фатальным для обеих семей, причиной их разорения; оно объясняет недолговечность их власти, беспокойное существование и непрерывные катастрофы, которые открыли путь к окончательному краху.

Ватерлоо и Седан, изгнание Юлии и трагический крах правительства Тиберия, все большие и малые несчастья, обрушившиеся на две семьи, всегда были следствием неразрешимого противоречия, которое они пытались разрешить. В краткой истории, которую я вам рассказываю, у вас был совершенно характерный пример этого. Агриппина становится объектом всеобщей ненависти и погибает в результате покушения, потому что она защищает традицию; ее сын пренебрегает традицией и, главным образом по этой самой причине, в конце концов вынужден покончить с собой. Несомненно, судьба Бонапартов менее трагична, потому что они, по крайней мере, избежали печально известной легенды, созданной современной ненавистью к семье Цезаря и искусно развитой историками последующих поколений. Я надеюсь, что смогу доказать в продолжении моей книги *"Величие и упадок Рима"*, что история семьи Цезаря, как она была изложена Тацитом и Светонием, является сенсационным романом,

легендой, содержащей не намного больше правды, чем легенда об Атридах. Семья Цезаря, оказавшаяся в центре великой борьбы, происходившей в Риме между древнеримским милитаризмом и интеллектуальной цивилизацией Востока, между национализмом и космополитизмом, между азиатским мистицизмом и традиционной религией, между эгоизмом, чрезмерно возбужденной культурой и богатством, и высшими интересами рода человеческого, должна была задеть слишком многие интересы, оскорбить слишком многие восприимчивости. Ущемленные интересы, оскорбленная восприимчивость отомстили за себя с помощью порочащих легенд.

Случай с Нероном особенно поучителен. Он был наполовину безумен и настоящим преступником: было бы абсурдно пытаться в его пользу добиться исторической реабилитации, на которую имеют право другие члены семьи, например Тиберий. И все же последующим поколениям было недостаточно того, что он искупил свои безумства и преступления смертью и позором. Они посягнули на его память: они упустили из виду такое смягчающее обстоятельство, имеющее большое значение, - его возраст на момент избрания; они зашли так далеко, что превратили его в уникального монстра, уже не человека и даже антихриста!

Несомненно, он первым пролил христианскую кровь; но если мы рассмотрим тенденцию, которую он представлял в римской истории, мы вряд ли сможем отнести его к числу великих врагов христианства. Сами того не желая, Август и Тиберий были двумя великими врагами христианского учения, потому что они стремились любыми средствами укрепить римскую традицию и боролись против всего, что однажды составит сущность христианства — космополитизма, мистицизма, господства интеллектуальных людей, влияния философского и метафизического духа на жизнь. Нерон, напротив, с его неоднократными усилиями распространить ориентализм в Риме и, главным образом, с его пристрастием к искусству, бессознательно был мощным соавтором будущей христианской пропаганды. Мы не должны забывать об этом: массы в Империи стали христианами только потому, что они сначала были пропитаны восточным духом.

Нерон и святой Павел, человек, который хотел наслаждаться всем, и человек, который все перенес, были в свое время двумя крайними противоположностями: с течением веков они стали двумя сотрудниками. В то время как один терпел голод и преследования, проповедуя учение об искуплении, другой звал в Италию и в Рим, чтобы развлечься, ювелиров, ткачей, скульпторов, живописцев, архитекторов, музыкантов, которым Рим всегда давал отпор.

Оба исчезли, отрезанные бурным течением своей эпохи; шли столетия: имя императора приобрело дурную славу, в то время как имя изготовителя палаток сияло славой. Посреди огромного беспорядка, который сопровождал распад Римской империи, когда узы между людьми ослабли, а человеческий разум, казалось, был неспособен рассуждать и понимать, ученики святого поняли, что ювелиры, ткачи, скульпторы, живописцы, архитекторы и музыканты Императора могли собрать массы вокруг церквей и заставить их терпеливо слушать то, что они все еще могли понять из возвышенной морали Павла. Когда вы рассматриваете собор Святого Марка, Нотр-Дам или любой другой грандиозный собор Средневековья, как музеи хранящиеся в них произведения искусства, вы видите яркий символ этого парадоксального союза жертвы и палача.

Только благодаря союзу Павла и Нерона Церковь смогла преодолеть беспорядок Средневековья и от античности до современности пронести сквозь эту грозную бурю основные

принципы, на основе которых развивалась наша цивилизация: решающее доказательство того, что, если история в ее деталях является непрерывной борьбой, в целом это неизбежное окончательное примирение антагонистических сил, достигнутое вопреки сопротивлению отдельных людей и путем их принесения в жертву.

Юлия и Тиберий

"Он шел, опустив голову, неподвижный, с суровым лицом, молчаливый человек, не обменивающийся ни словом с окружающими Август понимал эти суровые и надменные манеры и не раз пытался оправдать их в сенате и перед народом, говоря, что это дефекты темперамента, а не признаки зловещего духа".

Это изображение, которое Светоний дает нам о Тиберии, человеке, который в 9 году до нашей эры, после смерти Агриппы и Друза, стоял рядом с Августом, его правой рукой и предопределенным преемником. В то время Августу было пятьдесят четыре года; он не был стариком, но был болен и руководил республикой двадцать один год. Многие люди, должно быть, спрашивали себя, что произойдет, если Август умрет или определенно уйдет в частную жизнь. Ответ не был однозначным: поскольку Рим был занят завоеванием Германии, главой Империи и армии должен был быть доблестный генерал и человек, хорошо знакомый с германскими делами. Тиберий был первым полководцем своего времени и знал Германию и немцев лучше, чем любой другой римлянин.

Только что процитированный отрывок из Светония указывает на то, что Тиберий не пользовался особой популярностью, однако было общепринято мнение, что Рим и Италия вполне могли бы довольствоваться тем, что полагались на столь способного полководца и дипломата, если Август потерпит неудачу. Это отношение, однако, изменилось, когда смерть Друза полностью устранила альтернативу выбора между ним и Тиберием, и последний, которым до того времени восхищались все, начал встречать сильную оппозицию даже среди знати. Как можно прояснить этот, казалось бы, необъяснимый факт? Теория коррупции, столь дорогая древним, которую я уже объяснял, дает нам ключ к тайне. Те, кто был склонен видеть в этой теории всего лишь игру поэтов, ораторов, философов, теперь поймут, что она обладала достаточной силой, чтобы убить человека и разрушить семью первого гражданина Империи. Тот постоянный страх перед роскошью, развлечениями, расточительностью, из-за которого древние называли развратом так много вещей, которые мы определяем как прогресс, не был чувством, всегда одинаково живым в умах толпы. Римляне, как и мы, любили жить и наслаждаться; это настолько верно, что философы и законодатели постоянно старались напоминать им об опасности давать слишком большую свободу своим аппетитам; но более действенные, чем советы философов и угрозы закона, великие общественные бедствия внушали массам, по крайней мере временно, дух пуританства и аскетизма. Примечательным доказательством этого стали последствия битвы при Акциуме.

Те, кто читал четвертый том *"Величия и упадка Рима"*, возможно, помнят, как я описывал консервативное и традиционалистское движение первого десятилетия правления Августа. Напуганные революцией, умы людей стремительно возвращались к прошлому. Новая партия, которую можно было бы назвать традиционалистской, стремилась восстановить прежний порядок в государстве, в обычаях, в идеях; бороться с коррупцией обычаев; и правой рукой этой партии был Август. Действительно, эта партия до такой степени возбудила общественный дух и оказала влияние на власть имущих, что в 18 году до н.э. ей удалось принять несколько важных

социальных законов о роскоши, о браке, о одежде. С помощью этих законов Рим предлагал ужасными мерами переделать старое, плодовитое, суровое дворянство аристократической эпохи. *Закон о браке ординарий* с тысячью досадных ограничений был направлен на то, чтобы заставить дворян вступать в брак и заводить детей; *закон о роскоши* учился сдерживать расточительность; *закон о прелюбодеянии* провозгласил военное положение в семье, угрожая неверной жене и ее сообщнику пожизненным изгнанием и конфискацией половины их состояния; самое суровое законодательство, которое должно было обагрить Рим до крови, чтобы удержать его от нового падения в закоренелую преступность. пороки, из-за которых возникли гражданские войны.

Впечатление от гражданских войн не могло длиться вечно. Фактически, в десятилетие, последовавшее за обнародованием социальных законов, пуританский пыл, который до того времени подогревал всю Италию, начал остывать. Богатство росло; уверенность в том, что порядок и мир действительно восстановлены, распространилась повсюду; поколение, видевшее гражданские войны, исчезло; мир и растущее процветание пробудили в следующем поколении стремление к свободе и удовольствиям, которое не выдержало бы узкого традиционализма и пуританства предыдущего поколения; следовательно, и законы 18 года до нашей эры стали невыносимыми.

Чтобы понять это изменение общественного духа, которое имело такие серьезные последствия, нет лучшего способа, чем изучить самого знаменитого писателя этого нового поколения, Овидия, который наиболее превосходно представляет это как в жизни, так и в творчестве. Овидий родился в Сульмоне в 43 году до н.э. Ему было примерно столько же лет, сколько Тиберию, он происходил из рыцарской семьи, то есть из богатого среднего класса. Отец предназначил его для изучения ораторского искусства и юриспруденции, очевидно, для того, чтобы сделать из него политического деятеля, сенатора, будущего консула или проконсула, и внести свой вклад в великое национальное восстановление, которое его поколение предложило себе само и архитектором которого был Август, подготовив новую семью для политической аристократии, правившей Империей. У отца Овидия были все требования, предъявляемые законом и обычаями: значительное состояние, полублагородие всаднического ордена, умный сын, средства дать ему необходимую культуру — благоприятное стечение обстоятельств, которое было полностью сведено на нет непредвиденным противоречием, непреодолимой склонностью сына к тому, что его отец без особого уважения называл "бесполезным изучением" литературы. Молодой человек безразлично изучал ораторское искусство и юриспруденцию, побывал в Риме, женился, завел друзей в высшем обществе столицы, был избран на должности, предшествовавшие квесторству; но когда пришло время выставить себя кандидатом на самую квесторскую должность, то есть начать изучать настоящую учебную программу магистратуры, он заявил, что предпочел бы стать великим поэтом, а не консулом, и никто не смог переубедить его на долгом пути, открытом для политических амбиций.

Имея в виду эпизод с Юлией и Тиберием, я утверждал, что жизнь Овидия олицетворяет новое поколение, потому что она показывает нам в действии первую из сил, которые разрушили аристократическое правительство и дворянство, искусственно воссозданное Августом по окончании гражданских войн, — интеллектуализм. Случай с Овидием демонстрирует, что интеллектуальная культура, литература, поэзия, вместо того чтобы быть для римской аристократии, как в прежние времена, простым украшением, второстепенным по отношению к

политике, уже имели первостепенную привлекательность для гениального человека; что даже среди высших классов, традиционно посвященных только военной и политической жизни, рядом с военными и политическими лидерами появились профессиональные литераторы. Изучение творчества Овидия показывает нечто еще более примечательное: пользуясь разногласиями в правящем классе, эти литераторы больше не боялись выражать и усиливать недовольство, дурные предчувствия, отвращение, которые вызывали у части общества усилия государства по восстановлению более прочного общественного порядка.

Первым важным трудом Овидия была "*Любовь*", которая, безусловно, вышла к 8 году до нашей эры, хотя и в иной форме, чем та, в которой мы имеем ее сейчас. Чтобы понять, чем на самом деле была эта книга, когда она была опубликована, нужно помнить, что она была написана, прочитана и, более того, *вызвала восхищение* спустя десять лет после обнародования *закона о браке и закона о прелюбодеянии*; ее следует читать, имея в руках то, что осталось от текста этих законов.

Мы поражены этой книгой, полной призывов к легкомыслию, распушенности, удовольствиям, к тем самым занятиям, которые казались древним наиболее опасной частью "разврата". Сумасбродства поэта-распутника? Бунт развращенной молодежи в одиночку, который нельзя считать знамением времени? Нет. Если бы в обществе в целом, в высших классах, в новом поколении не было общего сочувствия к этой поэзии, ниспровергающей торжественные законы Юлия, Овидия никогда бы не узнали в домах знати, не баловали бы и не восхищались им в высшем обществе. Великие социальные законы Августа, обнародование которых было прославлено Горацием в "*Светской кармен*", ранили слишком многие интересы, мучили слишком многих эгоистов, ущемляли слишком много свобод.

Его революционные элегии сделали Овидия знаменитым, потому что эти интересы и этот эгоизм в конце концов восстали против нового поколения, которое не видело гражданских войн. Другие инциденты до и после публикации *Amores* также демонстрируют подобную реакцию против социальных законов. Поэтому примерно в это же время Август предложил отменить положение *закона о браке*, которое исключало соблюдение целибата из публичных представлений; и своим личным вмешательством попытался положить конец скандальным судебным процессам за супружескую измену, инициированным его законом, — двумя актам, которые вызвали такое восхищение у части публики, что ему по народной подписке были воздвигнуты статуи.

Короче говоря, это новое движение общественного мнения объясняет оппозицию, оказанную с этого времени Тиберию, и заставляет нас понять, как возник конфликт, в котором этому таинственному персонажу суждено было быть вовлеченным до конца своей жизни и потерять, не по своей вине, столь значительную часть своей репутации. Я надеюсь доказать, что Тиберий Тацита и Светония - фантастическая личность, герой жалкого и неправдоподобного романа, придуманного партийной ненавистью; что Тиберий оставался, как определил это немецкий историк, неразрешимой загадкой просто потому, что никогда не было желания признать, насколько живы еще были аристократические республиканские традиции и какую силу они все еще оказывали в государстве и семье.

Тиберий был всего лишь подлинным Клавдием, то есть истинным потомком одного из старейших, гордейших, аристократических родов римской знати, человеком со всеми хорошими качествами и всеми недостатками старой римской аристократии, человеком,

который смотрел на вещи и людей глазами сенатора времен Сципиона Африканского — живым анахронизмом, ископаемым, если хотите, из ушедшей эпохи в мире, который не желал больше терпеть ни пороки, ни добродетели старой аристократии. Он считал, что Империей должна управлять ограниченная аристократия дипломатов и воинов, строго авторитетная, исключительно римская, которая должна знать, как сдерживать всеобщее разложение обычаев, нынешнюю экстравагантность и распутство, начиная свою задачу с наложения на себя неумолимой самодисциплины. Несмотря на то, что он принадлежал к поколению Овидия — к поколению, которое не видело гражданских войн, — Тиберий, за редким исключением, держался в стороне от недисциплинированного легкомыслия своих современников. Он желал сурового применения социальных законов 18-го года, как и всех традиционных норм аристократической дисциплины. Поэтому его поколение вскоре сочло его врагом, особенно после того, как смерть Друза, казалось, не оставила ни сомнений, ни выбора относительно преемника Августа. Из этого современного отношения проистекает молчаливое отвращение, среди которого по прошествии стольких веков мы все еще ощущаем жизнь и деятельность Тиберия, отвращение, которое неуклонно растет даже тогда, когда он оказывает Империи самые выдающиеся услуги.

Между ним и его поколением существовал непримиримый разлад. Однако маловероятно, что одна только эта слепая и тайная ненависть могла бы серьезно повредить Тиберию, чья власть и заслуги были столь велики, если бы ей в значительной степени не помогли инциденты различного характера. Первым и наиболее важным из них был разлад, возникший вскоре после смерти Друза между Тиберием и его женой Юлией, дочерью Августа и вдовой Агриппы.

Тиберий женился на ней против своей воли в 11 году после смерти Агриппы по приказу Августа и поначалу пытался жить с ней в согласии; попытка оказалась тщетной, и души мужа и жены вскоре разошлись в роковых разногласиях. "Сначала он жил, - пишет Светоний, - в согласии с Юлией; но вскоре охладел к ней, и, наконец, отчуждение достигло такой степени после смерти их мальчика, родившегося в Аквилее, что Тиберий жил в отдельных апартаментах" — разделение, как мы бы назвали это, в "постели и питании". В чем была причина этого разлада? Ни один древний историк не раскрыл этого; однако мы можем с достаточной долей вероятности догадаться из того, что нам известно о характерах этой пары и разногласиях, разделивших римское общество. Если Тиберий не был чудовищем с Капри, то Юлия уж точно не была жалкой вакханкой из скандальной римской хроники. Макробий изобразил ее в человеческом свете и тени - вероятный образ, описывающий ее как высококультурную женщину, щедрую во вкусах и расходах, любящую прекрасную литературу, изящные искусства и общество красивых и элегантных молодых людей. Она принадлежала к новому поколению, представителем и поэтом которого был Овидий, в то время как Тиберий олицетворял архаичный традиционализм, дух прошлого поколения.

Легко понять, почему эти два человека, воплощавшие непримиримое противостояние двух эпох, двух *моралесов*, двух обществ римского милитаризма и восточной культуры, не могли жить вместе. Такой человек, как Тиберий, суровый, простой, ненавидевший легкомысленные удовольствия, больше заботящийся о войне, чем о светской жизни, не мог жить в мире с этим прекрасным и жизнерадостным созданием, любившим роскошь, расточительность, блестящее общество. Не будет опрометчивым предположить, что *lex sumptuaria* 18-го года стал первой серьезной причиной разногласий. Юлия, склонная, как описывает ее Макробий, к чрезмерным тратам и претенциозной элегантности, не могла воспринимать этот закон всерьез; в то время

как долгом Тиберия, который всегда делом, как и словом, протестовал против бесплодной пышности богатых, было следить за тем, чтобы его жена служила примером простоты для других матрон Рима.

Очень скоро произошел несчастный случай, нередкий в неудачных браках, но который по особым причинам был в семье Тиберия гораздо более чем заведомо опасным. Тацит рассказывает нам, что после того, как Юлия впала в немилость Тиберия, у нее завязалась связь с элегантным молодым аристократом, неким Семпронием Гракхом, из семьи знаменитых трибунов. Принимая как истину утверждение Тацита, само по себе вероятное, мы можем очень хорошо объяснить поведение и поступки Тиберия в эти годы. Проступок Джулии оскорбил не только мужчину и супруг, но и поставил государственного деятеля, представителя партии традиционалистов, в глубочайшее замешательство.

Согласно *закону о прелюбодеянии*, составленному Августом в 18 году, муж должен либо сам наказать неверную жену, либо донести на нее претору. Мог ли он, Тиберий, спровоцировать такой ужасный скандал в доме "Первого гражданина Республики"; изгнать из Рима опороченную дочь Августа, самую знаменитую даму Рима, у которой было так много друзей во всех кругах тамошнего общества? Светоний говорит об отвращении Тиберия к Юлии, *"которой он не осмеливался ни обвинять, ни отрицать вину преступника при демиттере аудере"*. С другой стороны, разве он, непримиримый традиционалист, который постоянно упрекал дворянство в слабости самодисциплины, не заслуживал упрека за то, что позволил этому продолжаться, не применяя закон? Трудность была серьезной; *закон о прелюбодеянии* начал мучить своих создателей. Не имея возможности расстаться, не желая жить с этой женщиной, которая оклеветала его и которую он презирал, Тиберий был вынужден поддерживать лишь видимый союз, чтобы избежать скандала, связанного с судебным разбирательством и разводом.

Однако при таком положении вещей этот поступок был средством как недостаточным, так и опасным. Раздор между Тиберием и Юлией дал в руки молодой знати, до того времени безоружной, страшное оружие против прославленного полководца, который тем временем сражался с германцами. Молодая знать, враждебно относившаяся к общественным законам и Тиберию, сплотилась вокруг Юлии, и последствия этого союза не замедлили проявиться. У Юлии было пятеро сыновей от Агриппы, из которых двое старших, Гай и Луций, были усыновлены Августом. В 6 году до нашей эры старшему из них, Гаю, исполнилось четырнадцать. Следовательно, он был всего лишь юношей; несмотря на его молодость, внезапно было выдвинуто странное, почти невероятное предложение издать закон, по которому он мог бы быть сразу избран консулом на 754 год н.э., когда ему исполнилось бы двадцать лет.

Кто сделал это предложение? Август, если верить Светонию, из чрезмерной привязанности к своим приемным сыновьям. Дион, напротив, рассказывает об этих вещах по-другому. Он говорит, что Август с самого начала выступал против закона, и это заставляет нас усомниться в том, что он был либо предложен, либо желанен этим принцем. Факты таковы, что одна партия в Риме продолжала настаивать до тех пор, пока Август не поддержал этот закон своим авторитетом, и что с самого начала он не желал участвовать в выборах, которые без всяких оснований отменяли все конституционные права Рима.

Кто же тогда были эти странные поклонники четырнадцатилетнего ребенка, которые, чтобы сделать его консулом, без колебаний пошли на насилие над традицией, законами, здравым

смыслом и, наконец, над приемным отцом? Это была оппозиция Тиберию, партия молодой знати и Юлии, которые добивались менее сурового правления и, если не отмены, то, по крайней мере, более мягкого применения великих социальных законов. Они стремились выдвинуть молодого Кая, как можно раньше привлечь к нему внимание общественности, ускорить его политическую карьеру, чтобы противопоставить Тиберию соперника; подготовить другого соратника и преемника Августа, сделать Тиберия менее незаменимым и, следовательно, менее могущественным.

Короче говоря, здесь была надежда использовать против Тиберия одновременно материнскую гордость и привязанность Юлии, нежность Августа и популярность имени Цезарь, которое носил Гай. Народ никогда особенно не любил имя Клавдиев, надменного рода непобедимых аристократов, всегда суровых и властных по отношению к бедным, всегда выступавших против демократической партии. Партия, выступавшая против Тиберия, надеялась, что, когда Клавдию будет противопоставлен цезарь, общественный дух вернется к ослепительному великолепию этого имени.

Теперь мы понимаем, почему Август сначала возражал. Привилегии, которые он добился предоставления Марцеллу, Друзу, Тиберию, имели меньшее значение, чем те, которые требовались для Кая, и все они были оправданы либо неотложными потребностями государства, либо уже оказанными услугами; но как можно было допустить, чтобы без всякой причины, без малейшей необходимости консулом был назначен четырнадцатилетний юноша, о котором было бы трудно предсказать даже, станет ли он человеком здравого смысла? Более того, Август не мог так легко заставить себя оскорбить Тиберия, который не желал признавать, что глава республики должен помогать своим врагам наносить ему столь тяжкое оскорбление. Как могло случиться, что в то время, как он, среди усталости и опасностей в холодных и диких краях, сражался с германцами и держал в подчинении европейские провинции, эта *любимая девушка* из бездельников, циников, бездельников, поэтов, которыми было заражено новое поколение, сговаривалась с его женой натравить на него четырнадцатилетнего ребенка? - чтобы получить, так сказать, санкцию закона, согласно которой государство не будет в безопасности, пока рядом с этим Клавдием не будет поставлен цезарь, безбородый и неопытный, как будто имя последнего перевешивало гениальность и опыт первого? А Август, глава Республики, разве он потерпел бы такое безобразие? Тиберий не только сопротивлялся закону, но и вызвал открытое неодобрение Августа; фактически, поначалу Август выступал против него, как того хотел Тиберий; но с течением времени трудности росли и стали серьезными.

Юлия и ее друзья знали, как умело расположить общественное мнение в свою пользу, интриговать в сенате, использовать растущую непопулярность социальных законов, растущее отвращение к Тиберию и восхищение другими членами семьи Августа. Предложение сделать Кая консулом за короткое время стало настолько популярным по той или иной из этих причин, а также как символ будущего правительства, менее сурового и традиционалистского, что Август чувствовал себя все менее и менее способным противостоять нынешнему течению. С другой стороны, уступить означало смертельно оскорбить Тиберия. В конце концов, по своему обыкновению, этот проницательный политик решил выпутаться из затруднения с помощью сделки и уловки. Дион, вскоре после того, как сказал, что Август наконец уступил воле народа, добавляет, что, чтобы сделать Гая более скромным, он дал Тиберию трибунскую власть на пять лет и поручил ему подавление восстания в Армении. Замысел Августа ясен: он пытался угодить

всем — сторонникам Кая Цезаря, не выступавшим против закона, и Тиберию, предложившему самую великолепную компенсацию, сделав его своим коллегой вместо Агриппы.

К сожалению, Тиберий был не тем человеком, который согласился бы на такую компенсацию. Никакая честь не могла загладить оскорбление, нанесенное ему Августом, хотя и уступившим отчасти своим врагам, потому что, поступив таким образом, даже Август, казалось, счел необходимым поставить его рядом с четырнадцатилетним парнем; он уйдет; они могут поступать, как им заблагорассудится, и обвинить Кая в руководстве войной в Германии. Возмущенный робким оппортунизмом Августа, испытывая отвращение к жене, которую он не мог ни обвинить, ни отвергнуть, Тиберий потребовал разрешения Августа удалиться в Роды для личной жизни, заявив, что он устал и нуждается в отдыхе. Естественно, Август был напуган, умолял его остаться, послал свою мать Ливию умолять его, но все усилия были тщетны; Тиберий был упрям, и в конце концов, поскольку Август не разрешил ему уехать, он пригрозил, что позволит себе умереть с голоду. Август все еще пытался быть твердым; один день, два дня, три дня он разрешал ему поститься, не давая требуемого согласия. В конце четвертого дня Август вынужден был признать, что Тиберий всерьез намеревался покончить с собой, и уступил. Сенат разрешил ему уехать, и Тиберий сразу же отправился в Остию, "не сказав ни слова, - пишет Светоний, - тем, кто его сопровождал, и поцеловав лишь немногих".

Было бы невозможно решить, было ли это возмездие самолюбию Тиберия равносильно оскорблению; и, возможно, бесполезно обсуждать этот вопрос. Несомненно, однако, что последствия ухода Тиберия были тяжелыми. Первым результатом было то, что партия молодой знати, партия, не одобрявшая законы 18-го года, оказалась хозяином положения; возможно, потому, что противоборствующая партия потеряла вместе с Тиберием своего самого авторитетного лидера; возможно, потому, что Август, раздраженный против Тиберия, еще больше склонился к противоположной партии; возможно, потому, что общественное мнение сурово осудило уход Тиберия, которым и без того мало восхищались, но который стал решительно непопулярен. Юлия и ее друзья восторжествовали и, не удовлетворившись победой, пожелали властвовать; вскоре после этого они добились уступки тех же привилегий, что были предоставлены Гаю его младшему брату Луцию. В то же время Август готовился сделать Гаю и Луцию двумя своими будущими сотрудниками вместо Тиберия; Овидий приложил руку к книге, еще более скандальной и подрывной, чем "*Amores*", "*Ars Amandi*"; общественное снисхождение покрыло своей защитой всех обвиняемых на основании законов 18 года; и, наконец, два мальчика, Гай и Луций, стали популярны, как великие личности, по всей Италии. В разных городах полуострова были найдены надписи в их честь, одна из которых, очень длинная и любопытная, находится в Пизе; она полна нелепых восхвалений двум парням, которые до сих пор ничего не сделали, ни хорошего, ни дурного. Италия, должно быть, достаточно устала от слишком консервативного правительства, просуществовавшего двадцать пять лет, от Империи, отвоєванной традиционными идеями, если в знак протеста она превозносила двух юных сыновей Агриппы способами, которые противоречили всем идеям и чувствам римской традиции.

В заключение следует отметить, что уход Тиберия и суровое осуждение, вынесенное ему общественностью, еще больше ослабили консервативную партию, которая уже несколько лет находилась в упадке, вследствие естественной трансформации общественного духа. Возможно, праздник традиций был бы полностью исчерпан, если бы события вскоре не напомнили Риму, что его дух - это жизнь военного ордена. Уход Тиберия, человека, олицетворявшего этот дух,

быстро дезорганизовал армию и внешнюю политику Рима. До этого времени рядом с Августом был могущественный помощник — сначала Агриппа, затем Тиберий; но затем он оказался один во главе империи, человек уже преклонных лет; и впервые оказалось, что этого ревностного бюрократа, этого привередливого администратора, этого интеллектуального бездельника, который мог выполнять огромный объем работы при условии, что его не заставляли выходить из кабинета и сталкиваться со слишком сильными для него воздушными потоками, недостаточно, чтобы в одиночку руководить политикой огромной империи, для чего требовались, помимо проницательности администратора, и изобретательность законодателя, решительность воина и человека действия.

Государство стремительно впадало в ступор. В Германии, где было необходимо приступить к упорядочению провинции, все было приостановлено; народ, по-видимому, покоренный, не был обязан платить никакой дани и был предоставлен самому себе исключительно по своим собственным законам — странная аномалия в истории римских завоеваний, которую может объяснить только уход Тиберия. Находясь на таком расстоянии, когда он больше не пользовался советами Тиберия, который так хорошо разбирался в германских делах, Август не доверял другим помощникам, опасаясь недостатка рвения и ума; не доверяя также самому себе, он не осмеливался ничего предпринимать в завоеванной провинции. Сенат, как обычно, инертный, не придавал этому значения. Таким образом, Германия оставалась неопределенностью, не провинцией и не независимой, в течение пятнадцати лет, и в этом факте, возможно, следует искать истинную причину катастрофы при Варе, которая разрушила всю германскую политику Рима.

Более того, в Паннонии и Далмации, когда стало известно, что самый доблестный полководец Рима попал в опалу при Родии, недовольные набрались смелости, возобновили агитацию, которая могла закончиться восстанием, гораздо более опасным, чем все предыдущие. На Востоке Палестина восстала в 4 году до н.э., после смерти Ирода Великого, против его сына Архелая и против эллинизированной монархии, требуя, чтобы ее сделали римской провинцией, подобной Сирии, и ужасная гражданская война осветила своим зловещим сиянием колыбель Иисуса. Губернатор Сирии Квинтилий Вар бросился в Иудею и преуспел в подавлении восстания; но Август, неспособный заставить себя ни полностью удовлетворить еврейский народ, ни полностью выполнить завещание Ирода, решил, как обычно, пойти на компромисс: он разделил древнее царство Ирода Великого между тремя своими сыновьями и сменил царский титул Архелая на более скромный - этнарх. Затем возникли новые трудности с Парфянской империей. Короче говоря, смутно, во всех частях Империи и за ее пределами начало расти ощущение того, что Рим снова слабеет; чувство сомнения из-за упадка духа традиции и партии, ее представляющей; из-за нового духа нового поколения; и, наконец, из-за отсутствия Тиберия, единственного способного полководца того времени, которое постепенно дезорганизовало даже западные армии, лучшие в Империи.

Этот распад государства, естественно, питал в партии традиционалистов надежду на отвоевание. У Тиберия были искренние друзья и почитатели, особенно среди знати, менее многочисленные, чем у Юлии, но более серьезные, потому что его заслуги были реальными. Многие люди из высших слоев общества — хотя, подобно Августу, они считали упрямство Тиберия чрезмерным — считали, что в Риме больше нет столько примеров прославленных людей, чтобы отправить в отставку своего лучшего полководца в тридцать семь лет. Очень скоро в кругах, окружавших Августа, в Сенате, в комициях, возник ожесточенный спор между

друзьями Тиберия и его врагами; на самом деле это была борьба между партией традиционалистов, которая занималась сохранением, вместе с традициями старого романизма, военной и политической мощи Рима, и партией молодой знати, которая, не обращая внимания на внешние опасности, хотела навязать привычки, идеи, общественный дух более свободным, широким формам восточной цивилизации, даже рискуя распадом государства и общества. армия. Юлия и Тиберий олицетворяют две партии; между ними стоит Август, который должен принять решение, но еще более неуверен, чем когда-либо. Теоретически Август всегда больше склонялся к Тиберию, но из-за отвращения к его отъезду, из-за заботы о семейном покое, из-за слабой симпатии к своему пасынку он перешел на противоположную сторону.

Как вела себя Ливия, мать Тиберия, и какую роль сыграла в этой дуэли? Древние историки ничего не сообщают нам; во всяком случае, едва ли вероятно, что Ливия оставалась пассивным свидетелем долгой борьбы, которая велась за возвращение Тиберия и его восстановление на некогда блестящем посту. Более того, Светоний говорит, что в течение всего своего пребывания в Роду Тиберий общался с Августом через Ливию. Во всяком случае, партия Тиберия вскоре поняла, что он не может вернуться в Рим, пока Юлия там популярна и наиболее могущественна; что для того, чтобы вновь открыть ворота Рима для мужа, необходимо изгнать жену. Это было трудное предприятие, потому что Юлию поддерживала уже господствующая партия; она пользовалась любовью Августа; она была матерью Кая и Луция Цезарей, двух надежд Республики, чья популярность окружала ее уважением и симпатией, которые делали ее почти неуязвимой. Тиберий, напротив, был непопулярен. Однако нет ничего невозможного в борьбе с партийной ненавистью. Раздраженная растущей немилостью общественного мнения, партия Тиберия решилась на отчаянный прием, к которому сам Тиберий не осмелился бы прибегнуть; то есть, поскольку у Юлии был любовник, использовать против нее оружие, предусмотренное *законом Юлии о прелюбодеянии*, составленным ее отцом, и таким образом спровоцировать ужасный скандал, которого до тех пор все в страхе избегали.

К сожалению, у нас слишком мало документов, чтобы подробно описать историю этого ужасного эпизода; но все становится достаточно ясно, если увидеть в гибели Юлии своего рода ужасный политический и судебный шантаж, предпринятый друзьями Тиберия, чтобы устранить главное препятствие к его возвращению, и если принять во внимание, что друзьям Тиберия удалось раздобыть доказательства вины Юлии и передать их Августу, не как главе государства, а как отцу.

Дион Кассий говорит, что "Август наконец, хотя и с опозданием, осознал проступки своей дочери", что означает, что в данный момент Август больше не мог притворяться, что не знает о ее грехах, потому что доказательства были во власти непримиримых врагов, которые отказались бы замаять скандал. Этими смертельными врагами Юлии не могли быть никто иной, как друзья Тиберия. Юлия нарушила закон о супружеской измене, принятый им самим; Август больше не мог в этом сомневаться.

Чтобы хорошо понять трагическую ситуацию, в которую эти разоблачения поставили Августа, нужно помнить разные вещи: во—первых, *закон о прелюбодеянии*, предложенный самим Августом, обязывал отца — когда муж не мог или не хотел - наказать виновную дочь или донести на нее претору, если у него не хватало смелости наказать ее самому; во-вторых, этот закон предусматривал, что, если отец и муж не выполнили свой долг, любой, кто бы ни пришел, мог во имя общественной морали наказать виновную дочь. подайте заявление претору и встаньте,

чтобы обвинить женщину и ее сообщника. Тиберий, муж, отсутствующий в Роді, он, Август, отец, должен стать Заклятым врагом своей дочери — должен наказать ее или донести на нее; в противном случае друзья Тиберия могут обвинить ее перед претором, оскорбить ее перед квестором, выставить на всеобщее обозрение позор ее частной жизни.

Что ему делать? Многие отцы с презрением отказывались быть палачом собственной дочери, оставляя другим мрачную обязанность применять *lex Julia*. Мог ли он последовать такому примеру? Он был главой Республики, самым могущественным человеком Империи, основателем нового политического порядка; он мог решать вопросы мира и войны, управлять Сенатом по своему усмотрению, возвышать или унижать сильных мира сего одним кивком; и именно по этой причине он не осмеливался уклониться от этой горькой задачи. Он боялся зависти, моральных и уравнилельных предрассудков средних классов, которым время от времени требовалось убивать в судах кого-нибудь из представителей высших классов, чтобы обманывать себя, что правосудие одинаково для всех. Ему были дарованы величайшие привилегии; но именно по этой причине было опасно пытаться покрыть его дочь привилегированной защитой как добычу, слишком хрупкую для публичного нападения. И потом, если бы он сам подал пример неподчинения своему закону, кто бы соблюдал его? Грандиозный скандал подорвал бы всю моральную силу его законодательства, которое было основой его престижа. Момент был ужасный. Представьте себе шестидесятидвухлетнего старика, утомленного сорока четырьмя годами общественной жизни, озлобленного возникшими вокруг него трудностями, встревоженного распадом государства, бессильным свидетелем которого он был, внезапно оказавшегося перед этими альтернативами - либо уничтожить свою дочь, либо свести на нет всю политическую работу, над которой он трудился тридцать лет; и тянуть время нельзя!

Август не был жестоким человеком от природы, но перед лицом этих альтернатив его разум, кажется, на мгновение затуманился от приступа горя и ярости, отдаленное эхо которых дошло до нас. В какой-то момент, как говорит Светоний, у него возникла идея убить Юлию. Затем разум, жалость, привязанность, более мягкие привычки возобладали. Он не вынес смертного приговора, но был слишком опытным политиком, чтобы не понимать, что ее спасти невозможно; и как он принес в жертву Цицерона, Лепида, Антония, так он принес в жертву и ее ради необходимости сохранить в глазах Италии свой престиж сурового законодателя и беспристрастного судьи. Чтобы избежать суда, он решил сам наказать ее своей властью *отца семейства* в соответствии с *законом Юлии*, сослав ее в Пандатарию и объявив о разводе с ней от имени Тиберия. Затем он отправил в Сенат отчет о том, что он сделал, и удалился в деревню, где, по словам Светония, оставался долгое время, никого не видя, охваченный глубокой скорбью.

Похоже, что падение Юлии стало неожиданностью для общественности. Через день стало известно, что весьма популярная дочь Августа была приговорена своим отцом к изгнанию. Это неожиданное откровение вызвало бурю в мегаполисе. Хотя тогда в Риме не издавались те мерзкие газеты, вредители современной цивилизации, которые выискивают своих *солдат* в грязи и слизи самых низменных человеческих страстей, вкуса к скандальным разоблачениям, зависти к гению и богатству, удовольствия от жестокости по отношению к безоружным, низменного наслаждения от излияния самых низменных чувств на честь женщины, всеми покинутой, — эти страсти тогда волновали умы так, как сегодня; и не было тогда большего, чем сейчас, недостатка в негодях, которые наживались на них, чтобы добыть деньги или

удовлетворить их. дурные инстинкты, не имея возможности избавиться от единственного жалкого листа бумаги. Со всех сторон появились доносчики, и эпидемия клеветы ожесточила Рим; каждый человек, имевший имя, богатство или какое-либо родство с семьей Августа, рисковал быть обвиненным как любовник Юлии. Несколько молодых людей из высшего общества, напуганных этими обвинениями, покончили с собой; другие были осуждены. О Юлии были придуманы и распространены самые чудовищные наветы, которые впоследствии легли в основу позорных легенд, оставшихся в истории связанными с ее именем. Партия традиционалистов, естественно, подстрекает к этому фурору обвинений и выдумок, направленных на то, чтобы убедить общественность в том, что среди высших классов скрывается ужасающая коррупция и что для борьбы с ней необходимо применять огонь и меч без жалости.

Друзья Юлии, партия молодой знати, поначалу сбитые с толку взрывом, не замедлили собраться и отреагировать; население Рима устроило несколько крупных демонстраций в пользу Юлии и потребовало от Августа ее помилования. Действительно, многие, признавая, что ее наказание было законным, протестовали против свирепости ее врагов, которые не колеблясь вызвали столь ужасный скандал в старости Августа; протестовали против безумного безрассудства обвинений, которым была охвачена каждая часть Рима. Большинство людей, тем более озлобленных, отвернулись от Тиберия, нападая на него с новой яростью как на причину всего зла. Они настаивали, что именно он задумал этот отвратительный скандал, пожелал его, навлек его на Рим и Империю!

Если Ливия и друзья Тиберия думали провести его через ворота, через которые вышла Юлия, они не замедлили признать себя обманутыми. Падение Юлии потрясло Тиберия на его далеком острове. Его непопулярность, и без того огромная, возросла из-за отвращения, вызванного скандалом вокруг Юлии, и стала настолько грозной, что однажды примерно в это же время жители Нима опрокинули его статуи. Это было начало христианской эры, но мрачная тишина нависла над Палатином; опороченная Юлия с трудом пробиравась в Пандатарию; Тиберий, дискредитированный и ненавистный, растрачивал себя в бездействии в Роді; Август в своем пустом доме, испытывающий отвращение, недоверие, наполовину парализованный глубоким горем, не желал слушать никаких советов о мире, снисхождении, примирении. Тиберий и Юлия были ему одинаково ненавистны, и так как он не позволял тронуть себя друзьям Юлии, которые не переставали умолять ее о прощении, то он сопротивлялся друзьям Тиберия, которые пытались склонить его к примирению. Какое ему было дело, если управление государством разваливалось на куски со всех сторон; если германцы угрожали восстанием; если Рим нуждался в мужестве, отваге, опыте Тиберия?

Тиберий из своего убежища в Роді держал в страхе всех в Риме, начиная с Августа. Слишком богатый, слишком стремящийся к удовольствиям и комфорту Рим испытывал почти отвращение к добродетелям и недостаткам, которые фактически создали его и которые сохранились в Тиберии — аристократическая гордость, дух строгости к власти, военная доблесть, простота. Наступил мир, распространившийся повсюду, с богатством, желанием наслаждений, счастья, баловства, свободы, повсюду ослабив самые прочные узы социальной дисциплины, убедив Рим сложить тяжелые доспехи, которые он носил столько веков.

В этой семейной ссоре, которая включает в себя борьбу вечных тенденций, Юлия представляла новый дух, который восторжествует, Тиберий - старый, которому суждено погибнуть; но в

настоящее время оба духа, какими бы противоположными они ни были, были необходимы; ибо мир не распространял свои дары в Империи без защиты великих армий, сражавшихся на Рейне и Дунае. Если дух мира освежал Рим, Италию, Провинции, то только старый аристократический и военный дух мог удержать немцев на Рейне. Как и во всех крупных социальных конфликтах, обе противоборствующие стороны были в определенной мере правы, каждая со своей точки зрения. Именно по этой причине равновесие могло быть достигнуто только путем непрерывной борьбы, в которой людям с одной и другой стороны было суждено поочередно торжествовать или падать в зависимости от момента; борьбы, в которой Августу, обреченному играть роль судьи, то есть признавать окончательной формальной санкцией приговор, уже вынесенный фактами, приходилось против своей воли, в свою очередь, осуждать одних и награждать других.

Юлия останется в Пандатарии, а Тиберий вернется в Рим, когда опасность на Рейне станет слишком угрожающей, но это ненадолго уменьшит решительную месть Юлии. Это наступит в долгих мучениях правления Тиберия; в позоре, который будет преследовать его до конца жизни. После того, как при жизни их безжалостно ненавидели и преследовали, этот мужчина и эта женщина, олицетворявшие две социальные силы, вечно враждующие друг с другом, после смерти оба упадут в одну и ту же бездну незаслуженного позора: трагическое зрелище и предостерегающий урок о тщете человеческих суждений!

Вино в истории Рима

В истории, как ее обычно пишут, можно видеть только великих личностей и события, королей, императоров, генералов, министров, войны, революции, международные договоры. Когда человек закрывает огромный том истории, он знает, почему это государство развязало большую войну против этого; понимает политическое мышление, стратегические планы, дипломатические соглашения сильных мира сего, но вряд ли сможет ответить на гораздо более простые вопросы: как люди ели и пили, как были одеты воины, политики, дипломаты и вообще, как люди жили в то или иное конкретное время.

История обычно не занимается маленькими людьми и маленькими фактами и поэтому часто бывает неясной, неточной, расплывчатой, утомительной. Я верю, что если когда-нибудь я заслужу похвалу, то это будет потому, что я пытался показать, что все имеет ценность; что все явления переплетаются, действуют и реагируют друг на друга — экономические изменения и политические революции, костюмы, идеи, семья и государство, владение землей и возделывание. В истории не бывает незначительных событий; ибо великие события, такие как революции и войны, неизбежно и неразрывно сопровождаются бесконечным количеством незначительных изменений, проявляющихся в каждой части нации: если в жизни есть люди, не заслуживающие внимания, и если они составляют подавляющее большинство наций — то, что называется "массой", — нет большей ошибки, чем полагать, что они чужды истории, просто инертные инструменты в руках правящих олигархий. Государства и институты покоятся на этой безымянной массе, как здание покоится на своем фундаменте.

Я хочу показать вам сейчас на типичном примере возможную важность этих маленьких фактов, столь забытых в истории. Я не буду говорить вам ни о проконсулах, ни об императорах, ни о великих завоеваниях, ни о знаменитых законах, но о виноторговцах и виноградарях, о процветающем и знаменитом растении, которое от покрытых лесом горных склонов, отражающихся в Черном море, начало свое медленное, триумфальное распространение по

всему земному шару до своего бивуака двадцатого века в Калифорнии. Я покажу вам, как ветви и отростки растения Бахуса переплетаются с историей и судьбой Рима.

На протяжении многих веков римляне любили пить воду. В Италии производилось мало вина, да и то низкого качества: обычно даже богатые не имели обыкновения пить его ежедневно; многие использовали его только как лекарство во время болезни; женщинам его никогда не разрешалось употреблять. Долгое время любая женщина в Риме, употреблявшая вино, вызывала чувство отвращения, подобное тому, которое совсем недавно вызывала в Европе любая женщина, которая курила. Во времена Полибия, то есть ближе к середине второго века до нашей эры, дамам разрешалось пить лишь немногo *passum*- разновидности сладкого вина или сиропа, приготовленного из изюма. О женщинах, слишком увлекавшихся напитком Диониса, рассказывали ужасающие истории. Говорили, например, что Эгнатий Меценат забил свою жену до смерти за то, что она тайком пила вино; и что Ромул отпустил ему грехи (Плиний, *Нац. История.*, Коран. 14, гл. 13). Со слов Фабия Пиктора, который упомянул об этом в своих анналах, рассказывалось, что семейный трибунал приговорил римлянку к голодной смерти за то, что она украла у своего мужа ключи от винного погреба. Говорили, что греческий судья Дионисий приговорил к лишению приданого жену, которая, без ведома своего мужа, выпила больше, чем было полезно для ее здоровья: эта история показывает, что женщинам начали разрешать использовать вино в качестве лекарства. Долгое время гордостью истинного римлянина было презирать изысканные вина. Например, древние историки рассказывают о Катоне, что, когда он с триумфом вернулся со своего проконсульства в Испании, он хвастался, что пил во время путешествия то же вино, что и его гребцы; которое, конечно, не было, как мы бы сказали сейчас, ни бордо, ни шампанским!

Катон, это правда, был странным человеком, который доставлял себе удовольствие, бросая в лицо зарождающейся роскоши молодого дворянства почти звериную грубость; но он преувеличивал, а не фальсифицировал идеи и чувства романизма. В то время было недостойно римлянина быть искушенным поклонником изысканных вин и проявлять к ним слишком большую склонность. Тогда в Италии не только мало и плохо выращивали виноградную лозу, но и эта страна почти отказывалась признавать свою способность производить изысканные вина из своего винограда. Как роскошные вина, тогда признавались и ценились только греческие — и за них платили, как за французские вина сегодня; но, хотя ими восхищались и хорошо платили за них, римляне, все еще застенчивые и экономные, пользовались ими очень бережливо. Лукулл, знаменитый завоеватель Понта, рассказывал, как в доме его отца — следовательно, в доме знатной семьи — греческое вино никогда не подавали больше одного раза, даже на самых изысканных обедах. Более того, это, должно быть, был распространенный обычай, потому что Плиний, говоря о начале последнего столетия Республики, говорит: "*Tanta vero vino græco gratia erat ut singulæ potiones in convitu darentur*"; то есть, переводя буквально, "Греческое вино ценилось так высоко, что за трапезой подавали только один глоток". Вы сразу понимаете значение этой фразы; греческое вино подавали так же, как сегодня - по крайней мере, на европейских столах — подают шампанское; оно было слишком дорогим, чтобы давать его в большом количестве.

Это положение вещей начало меняться после того, как Рим стал мировой державой, вышел за пределы Италии, вмешался в великие дела Средиземноморья и вступил в более непосредственный контакт с Грецией и Востоком. По странному закону корреляции, по мере распространения Римской империи по Средиземноморью виноградники распространялись и

по Италии; постепенно, по мере того как мировая политика Рима восторжествовала в Азии и Африке, урожай винограда в Италии становился все более обильным, потребление вина увеличивалось, качество улучшалось. Связь между этими двумя явлениями — прогрессом завоевания и прогрессом виноградарства — не случайна, а органична, существенна, интимна. По мере того как мало-помалу расширялась политика экспансии, в Риме возрастали богатство и культура; дух традиций и простоты ослабевал; распространялась роскошь, а вместе с ней и жажда ощущений, включая вкус к опьяняющим напиткам.

Нам достаточно обратить внимание на то, что происходит с нами в современном мире — когда развивается промышленность, увеличивается богатство и растут города, люди пьют более жадно и буйно опьяняющие напитки, — чтобы понять, что произошло в Италии и в Риме, когда постепенно войны, дань, политика шантажа, безжалостное ростовщичество принесли на полуостров добычу средиземноморского мира, богатства в самых многочисленных и разнообразных формах. Былое отвращение к вину уменьшилось; мужчины и женщины, горожане и сельские жители, научились пить его. Города, особенно Рим, больше не ограничивались утолением жажды у фонтанов; по мере роста спроса и цен на вино землевладельцы в Италии стали проявлять интерес к подношению чаши Бахуса, а поскольку они вложили капитал в виноградники, те же интересы побуждали их еще больше разжигать жажду вина среди толпы, совершенствовать выращивание винограда и увеличивать урожай, подражая грекам. Войны и военные экспедиции на Восток не только привели многих итальянцев, крестьян и собственников, в гущу самых знаменитых виноградников мира, но и доставили в Италию рабов и многочисленных греческих и азиатских крестьян, которые знали лучшие методы выращивания винограда и изготовления вин, подобных греческим, точно так же, как крестьяне Пьемонта, *Венето* и Сицилии за последние двадцать лет развили виноградарство в Тунисе и Калифорнии.

Плиний, который так богат ценной информацией о сельскохозяйственных и социальных достижениях Италии, сообщает нам, что она открыла свои холмы и равнины для триумфального въезда Диониса между 130 и 120 годами до н.э., примерно в то время, когда Рим вступил во владение Пергамским царством, самой большой и богатой частью Малой Азии, оставленной ему по завещанию Аттала. С тех пор в течение полутора столетий развитие виноградарства продолжалось без перерыва; каждое поколение вкладывало новый капитал, чтобы расширить наследие уже выращенных виноградников и посадить новые. По мере увеличения урожая были удвоены усилия по расширению продаж, привлечению большего числа людей к выпивке, вытеснению итальянских вин греческими.

На расстоянии веков эти интересы виноградарства не проявляются даже в истории; но на самом деле они были важнейшим фактором римской политики, силой, которая помогает нам объяснить несколько основных фактов из истории Рима. Например, виноградники были одной из основ императорской власти в Италии. Та политическая форма, которая при Августе была названа княжеством и из которой развилась монархия, не была бы основана, если бы в последнее столетие Республики вся Италия не была покрыта виноградниками и оливковыми садами. Утверждение, изложенное просто так, может показаться странным и парадоксальным, но его истинность будет легко доказать.

Императорская власть постепенно укреплялась, потому что, начиная с Августа, ей удалось умиротворить Италию после столетия беспорядков, гражданских войн и иностранных

вторжений, которым светские институты республики не знали, как противостоять достаточной защите; так что мало-помалу, правильно это или нет, власть *принцепса* как верховного магистрата и власть дома Юлиев-Клавдиев, организованного верховным магистратом, стали казаться итальянской массе прочной основой мира и порядка. Но почему Италия, начиная со времен Цезаря, так отчаянно стремилась к миру и порядку? Было бы ошибкой видеть в этом беспокойстве только естественное стремление нации, измученной анархией, к условиям, необходимым для общего социального существования. Сопоставление двух эпизодов покажет вам, что в эпоху цезаря раздражение беспорядками и нетерпимость к ним по особой причине возросли в Италии. К концу третьего века до нашей эры Италия около семнадцати лет терпела на своей земле присутствие армии, которая повсюду грабила и жгла, — армии Ганнибала, — не теряя самообладания, терпеливо ожидая, когда прекратятся мучения. Полтора столетия спустя фракийский раб, сбежавший с цепи с несколькими товарищами, захватил страну, — и Италия испугалась, взмолилась о помощи, протянула руки к Риму с таким отчаянием, какого никогда не делала за все годы правления Ганнибала.

Что привело Италию в такой ужас? Потому что во времена Ганнибала здесь выращивали в основном злаки и пасли скот, в то время как во времена Спартака значительная часть его состояния была вложена в виноградники и оливковые рощи. В пастбищных и зерновых регионах вторжение армии наносит относительно небольшой ущерб, поскольку скот можно перегнать раньше захватчика, и если сжечь хлебные поля, то годовой урожай будет потерян, но столица не будет разрушена. Если вместо этого армия вырубает и сжигает оливковые сады и виноградники, которые выращиваются много лет, это уничтожает огромный накопленный капитал. Спартак не был новым Ганнибалом, он был чем-то гораздо более опасным; он был новым видом *филлоксеры* или *Mosca olearia* в форме банд разбойников, которые уничтожали виноградные лозы и оливки, накопленный веками капитал. Таким образом, император постепенно превратился в божество-покровителя виноградной лозы и оливы, богатства Италии. Это он остановил варваров, все еще беспокойных и неспокойных на границах Италии, едва переступив их границы; это он поддерживал мир внутри страны между общественными порядками и политическими партиями; это он заботился о содержании и охране больших дорог полуострова, периодически очищая их от грабителей и злонамеренных, наводнивших их; и землевладельцы, которые принимали свои виноградники и оливковые рощи более близко к сердцу, чем великие республиканские традиции, поместили образ императора среди изображений своих подданных и почитали его так же, как раньше почитали Сенат.

Еще более любопытно влияние, которое это развитие итальянского виноградарства оказало на политическую жизнь Рима; например, в варварских провинциях Европы вино было инструментом романизации, эффективностью которого слишком часто пренебрегали. В Галлии, в Испании, в Гельвеции, в придунайских провинциях Рим учил многим вещам: праву, войне, строительству дорог и городов, латинскому языку и литературе, литературе и искусству Греции; более того, он также учил пить вино. Тот, кто читал *Комментарии* Цезаря, вспомнит, что в нескольких случаях он описывает некоторые более варварские народы Галлии, которые запрещали ввоз вина, потому что боялись, что они будут нервировать и развращать себя привычным пьянством. Страбон рассказывает нам о великой гето-фракийской империи, которую гет-воин по имени Боребист основал во времена Августа за Дунаем, напротив римских владений; в то время как этот вождь стремился взять от греческой и латинской цивилизации много полезного, он строго запретил ввоз вина. Этот и другие подобные факты, которые можно было бы привести, показывают, что эти первобытные народы, точно так же, как римляне более

древних времен, боялись напитка, который так легко опьяняет, точно так же, как в Китае все мудрые люди всегда боялись опиума как национального бедствия, и многие во Франции сегодня запретили бы производство абсента.

Эти колебания и страх исчезли у галлов после присоединения их страны к Империи; исчезли или были ослаблены у всех других народов Дунайской и Рейнской областей и даже в Германии, когда они попали под римское владычество; даже тогда, когда они сохраняли независимость, по мере того, как мало-помалу римское влияние усиливалось. По примеру торговцев, в литературе Рим разливал повсюду румяный и ароматный напиток Диониса и гнал в дикие места и деревни, отдаленные и бедные, национальную медовуху — напиток из перебродившего ячменя, сродни современному пиву.

Итальянские владельцы, расширявшие свои виноградники, особенно в долине реки По, где уже во времена Страбона урожай винограда был очень обильным, вскоре узнали, что за Альпами живет множество покупателей. При Августе Арль уже был крупным рынком сбыта вин, как греческих, так и итальянских; в тот же период через Аквилею и Лейбах проходила значительная торговля итальянским вином с придунайскими регионами. В римских замках вдоль Рейна, среди множества итальянцев, следовавших за армиями, не было недостатка в виноторговце, который стремился своим спиртным вдохнуть в оцепеневшую кровь варваров луч южного тепла. Повсюду римское влияние побеждало национальные традиции; вино царило на столах богачей как благородный напиток, и чем больше пили галлы, паннонцы, далматинцы, тем больше денег итальянские владельцы зарабатывали на своих виноградниках.

Я уже говорил, что Рим распространял одновременно свое вино и свою литературу: он также распространял свое вино через свою литературу, факт, на котором я хотел бы немного остановиться, поскольку он странный и интересный по разным причинам. Мы всегда совершаем ошибку, оценивая великие литературные произведения прошлого. Через два или три столетия после того, как они были написаны, они служат только для того, чтобы доставить уму определенное наслаждение; следовательно, мы считаем само собой разумеющимся, что они были написаны только для того, чтобы доставить нам это наслаждение. Напротив, почти все литературные произведения, даже величайшие, поначалу выполняли совершенно иную функцию; они служили распространению или противодействию среди современников автора определенным идеям и чувствам, которым благоприятствовали или противодействовали интересы определенных руководящих сил; действительно, очень часто авторами восхищались и вознаграждали их гораздо больше за эти услуги, оказанные их современникам, чем за возвышенную красоту самих литературных произведений.

Так обстоит дело с одами Горация. Чтобы понять все, что они хотели сказать современникам, нужно представить римское общество таким, каким оно было тогда, едва завершив столетие завоеваний и революций, в беспорядке, неуравновешенным и все еще грубым, несмотря на роскошь и утонченность, поверхностно перенятые с Востока; общество, жаждущее наслаждений, но все еще плохо воспитанное, чтобы применять к себе ту дисциплину хорошего вкуса, без которой цивилизация и ее удовольствия скорее усугубляют, чем сдерживают врожденную жестокость людей. В первый мирный период, наступивший после столь сильных потрясений, эта столь совершенная по форме поэзия, анализирующая и описывающая все самые изысканные наслаждения чувств и души, привнесла в привычки новый дух утонченности и в сочетании с кропотливым образованием научила даже суровых завоевателей мира

наслаждаться всеми радостями цивилизации, как литературой, так и любовью, роскошью города и покоем виллы, братской дружбой и хорошей кухней. Оно также научило — эта великая поэзия чувств — наслаждаться вином, использовать напиток Диониса не для утоления жажды, а для окрашивания, то мягким, то сильным опьянением, самых разнообразных эмоций: печали воспоминаний, нежности дружбы, восторга любви, тепла тихого дома, когда без яростной бури и лютого холода вселенная природы застывает.

Таким образом, в поэзии Горация вино предстает как белкообразное божество, которое проникает не только в ткани тела, но и в самые сокровенные уголки разума и помогает ему в любых непредвиденных обстоятельствах, печальных или веселых. Вино утешает в несчастье (i., 7), наполняет чувства всеобщим забвением, освобождает от тревог и скуки забот, заполняет пустые часы и прогоняет зимний холод (i., 9). Но вино, обладающее способностью вливать в вены нежное забвение, обладает и противоположной силой пробуждения лирического пыла в духе, пыла героического, прорицающего, мистического (iii., 2). Наконец, вино - это также источник силы и героизма, а также радости и чувственного наслаждения; принцип цивилизации и прогресса (ii., 14).

Я хотел бы повторить вам все дионисийские стихи этого старого поэта из Венозы, чьи сюжеты и мотивы, хотя и выраженные в самых изысканных формах, могут показаться обычными в наше время и нам, среди которых на протяжении веков обычай ежедневно пить вино во время еды был общепринятой привычкой. Но эти стихи имели совсем другое значение, когда были написаны, в том обществе, в котором многие не осмеливались употреблять вино в обычном виде, считая его лекарством, или напитком, вредным для здоровья, или роскошью, опасной для нравственности и кошелька; в то время, когда целые народы, подобно Галлии, колебались между приглашениями румяного, увенчанного виноградной лозой Вакха прийти со своими победоносными легионами, и отчаянными мольбами Сервизии, национального медовухи, побледневшей и бежавшей в леса. В те времена и среди тех людей Гораций своими дифирамбами воздействовал не только на дух, но и на волю, соединяя тонкий намек своих стихов со всеми другими стимулами и побуждениями, которые со всех сторон побуждали людей пить. Он разрушил древние итальянские традиции, которые с таким отвращением и со столькими страхами противодействовали попыткам виноделов и работников виноградников продавать вино по высокой цене; таким образом, он оказал услугу итальянскому виноградарству.

Книги Горация, еще при его жизни, стали тем, что мы могли бы назвать школьными учебниками; то есть их читали юные ученики, что, должно быть, усилило их влияние на умы. Представьте себе, что сегодня великий европейский поэт должен описывать и превозносить в великолепных стихах чувственное наслаждение от курения опиума; должен обожествлять в богатой образами мифологии опьяняющие свойства этого продукта. Представьте себе, что стихи этого поэта читали в школах: тогда вы можете путем сравнения представить себе действие стихотворений Горация.

Таким образом, политический и военный триумф Рима в средиземноморском мире означал всемирный триумф вина. Это настолько верно, что сегодня в Европе и Америке сыны Рима пьют вино как свой национальный ежедневный напиток. Англосаксы и немцы пьют его так же, как римляне второго века до нашей эры, по официальным поводам или как лекарство. Когда вы

видите за столом европейца или американца золото или рубины прекрасного напитка, поблескивающие в бокалах, помните, что это еще одно наследие Римской империи и конечный результат побед Рима; что, вероятно, мы пили бы другие напитки, если бы Цезарь потерпел поражение при Алезии или если бы Митридат смог решительно отвоевать Малую Азию у Рима. Вас поражает, что между политикой и энологией, между великими историческими событиями и судьбой скромного растения существует столь тесная связь.

Я могу показать вам другой аспект этого явления, еще более странный и философский. Я уже говорил, что в начале первого века до нашей Эры, хотя в Италии уже было посажено много виноградников и собирались щедрые урожаи, итальянские вина все еще были мало востребованы, в то время как греческие - наоборот. Плиний пишет:

Итальянские вина долгое время презирались.... Заморские вина были в большой моде некоторое время даже после консульства Опимия [121 г. до н.э.] и вплоть до времен наших дедов, хотя тогда уже были открыты фалернские.

Во второй половине последнего столетия Республики и первой половине первого века до нашей эры положение вещей изменилось; итальянские вина приобрели большую известность и спрос и отняли у греческих то превосходство, которое они так долго удерживали. Наконец, это превосходство стало одной из трофеев завоевания мира, и притом не самой скудной. Плиний, писавший во второй половине первого века, говорит (bk. 14, гл. 11):

Среди восьмидесяти самых знаменитых сортов вина, производимых во всем мире, Италия производит около двух третей; следовательно, в этом она превосходит другие народы.

Первыми винами, на которые обратили внимание, по-видимому, были вина южной Италии, особенно фалернские, и Юлий Цезарь, по-видимому, многое сделал для того, чтобы они стали известны. Плиний рассказывает нам (bk. 14, гл. 15), что на большом народном банкете, устроенном в честь его триумфа после возвращения из Египта, он раздал каждой группе пирующих по бочонку хианского и амфоре фалернского, и что в свое третье консульство он раздавал населению четыре сорта вина: лесбийское, хианское, фалернское и мамертинское; два греческих вина и два итальянских. Очевидно, что он хотел официально признать национальные вина равными иностранным в пользу итальянских виноделов; так что Юлий Цезарь, этот универсальный человек, занимает место не только в истории великих итальянских завоеваний, но и в истории итальянского виноградарства.

Вина долины реки По вскоре заняли достойное место после вин южной Италии. Мы знаем, что Август пил только ретийское вино, то есть из Вальтеллины, одной из долин, известной и сегодня несколькими восхитительными винами; мы знаем, что Ливия пила истрийское вино.

Я уже говорил, что Италия экспортировала много вина в Галлию, в Придунайские регионы и в Германию; к этому можно добавить еще одно замечание, одновременно любопытное и интересное. *"Перипл Эритрийского моря"*, приписываемый Арриану, своего рода практическое руководство по географии, составленное во втором веке нашей эры, сообщает нам, что в том столетии итальянское вино экспортировалось даже в Индию; так далеко распространилась его слава! Нет сомнения, что богатство в первом и втором веках нашей эры, которое текло рекой в каждую часть Италии, частично происходило от плодородных виноградников, посаженных на ее холмах и равнинах; и что итальянцам, которые отправились на Восток по политическим и финансовым причинам, выпала еще большая удача в контрабанде

Бахуса с великолепных виноградников Эгейских островов и транспортировке его в холмы Италии; новая резиденция, где капризный бог виноградной лозы отдыхал в течение двух столетий, пока он снова не пустился в странствия и не пересек Альпы.

На данном этапе мы можем спросить себя, было ли это энологическое превосходство Италии результатом только большего мастерства в выращивании лозы и прессовании винограда. Я думаю, что нет. Не похоже, что Италия изобрела новые методы производства вина; напротив, похоже, что она ограничилась подражанием тому, что изобрели греки. С другой стороны, несомненно, по крайней мере в северной и центральной Италии, что, хотя виноградная лоза растет, она делает это менее спонтанно и пышно, чем на Эгейских островах, в Греции и Малой Азии, потому что в первых регионах относительно холодно.

Великая слава итальянских вин имела и другую причину, политическую: мировое могущество и престиж Рима. Этот психологический феномен встречается в каждую эпоху, у всех народов и является одним из самых важных и существенных во всей истории. Что такое прекрасное и что такое уродливое? Что такое хорошее и что такое плохое? Что истинно, а что ложно? В каждый период люди должны проводить такое различие между вещами, должны принимать или отвергать определенные идеи, практиковать или отказываться от определенных привычек, покупать определенные предметы и отказываться от других; но не следует верить, что все народы делают эти различия спонтанно, в соответствии со своей естественной склонностью. Всегда случается, что некоторым нациям удается с помощью войны, денег или культуры убедить окружающие их меньшие народы в своем превосходстве; и, испытывая сильное восхищение, они навязывают своим восприимчивым соседям путем своего рода постоянного внушения свои собственные идеи как самые верные, свои собственные обычаи как самые благородные, свое собственное искусство как самое совершенное.

Главным образом по этой причине войны часто имеют отдаленные и сложные последствия для привычек, идей и торговли наций. Война, которой столь многие философы приписали бы божественный дух, столь многие другие — дьявольский, представляется историку прежде всего средством — позвольте мне употребить несколько легкомысленное, но наглядное выражение — шумной *рекламы*, рекламы народа; потому что, хотя более цивилизованный народ может быть побежден другим, более варварским, менее культурным, менее моральным; хотя также превосходство в войне может быть относительным, и люди существуют на земле не только для того, чтобы наносить друг другу удары, но и для того, чтобы работать, учиться, познавать, наслаждаться; тем не менее, большинство людей живут на земле. людей легко убедить, что тот, кто победил на войне, во всем или, по крайней мере, во многих вещах превосходит того, кто проиграл. Так случилось, например, после окончания франко-прусской войны, что не только армии, организованные или реорганизованные после 1870 года, имитировали даже немецкую форму, как ранее они копировали французскую, но и в политике, науке, промышленности, даже в искусстве все немецкое вызывало более щедрое восхищение. Даже потребление пива сильно возросло в винодельческих странах, и под защитой Франкфуртского мирного договора бог Гамбринус совершил несколько дерзких вылазок на территории, священные для Диониса.

То же самое происходило в отношении вина в древнем мире. Афины и Александр Македонский обеспечили греческому вину самую широкую известность, и все народы Средиземноморского мира были убеждены, что это лучшее из всех. Затем центр власти сместился на запад, к городу, построенному на берегах Тибра, и мало-помалу, по мере роста могущества Рима, репутация его

вина росла, в то время как репутация Греции падала; пока, наконец, с появлением мировой империи Италия не завоевала первенство на винном рынке и удерживала его за Империей; ибо, пока Италия была властелином, итальянское вино казалось самым превосходным, и платили за него соответственно.

Эта склонность второстепенных или подчиненных народов подражать тем, кто доминирует или более знаменит, является величайшей наградой, вознаграждающей выдающихся за труд, необходимый для завоевания этого почетного места; это причина, по которой культурные нации, естественно, должны стремиться сохранить определенное политическое, экономическое и военное превосходство, без которого их интеллектуальное превосходство ослабело бы или, по крайней мере, утратило бы часть своей ценности. Человеческое множество в огромном мире еще не настолько разумно и утонченно, чтобы ценить то, что прекрасно и величественно само по себе; и они с готовностью склоняются к восхищению как превосходным тем, что всего лишь посредственно, если за этим стоит сила, которой следует бояться или навязывать ее. Действительно, в современном мире мы можем наблюдать явление, аналогичное тому, что наблюдалось в исторической Италии. Каковы были изменения в энологическом превосходстве, завоеванном Римом за последующие столетия?

Естественно, я не могу пересказать всю историю, хотя это было бы интересно; я лишь отмечу, что современная цивилизация подтверждает закон, по которому господство в латинском мире и превосходство вина неразрывно связаны в истории.

Париж - это современный Рим, столица латинского мира. Франция продолжает, насколько это возможно в наше время, древнее господство Рима, распространяющееся по всему земному шару посредством торговли, литературы, искусства, науки, промышленности, господства политических идей, влияния латинского мира, делающего данниками латинской культуры варварские народы и нации, слишком молодые для лидерства или слишком состарившиеся; и Франция унаследовала превосходство в винах, хотя она находится на самых дальних границах виноградной зоны, за пределами которой дерево Бахуса отказывается жить. Понимаете ли вы, что во всем обширном поясе земли, где процветают виноградники, только на сухих холмах Шампани созревает восхитительное шипучее вино, которое в современной цивилизации — по крайней мере, для тех, кто любит вино — превращается в нектар богов? И это при том, что шипучие вина производятся в бесчисленных частях света, и многие из них настолько хороши, что возникает вопрос, не могли ли они, произведенные с особой тщательностью, разлитые по красивым бутылкам и продаваемые по такой же высокой цене, как самое знаменитое французское шампанское, оспорить часть восхищения, которое поклонники Бахуса оказывают французскому вину. Ах, они не сверкают перед глазами всего мира как символы веселого опьянения, как другие, ибо через эти бутылки не проходит ни лучика славы и престижа Франции! Историк, любящий парадоксы, мог бы утверждать, и с большой долей вероятности, то, что не кажется на первый взгляд: что лучшие марки французского шампанского не продавались бы так дорого, если бы Французская революция была подавлена европейской коалицией и если бы Франция, побежденная в ужасном испытании, была закована в цепи абсолютными монархиями Европы, как опасный зверь. Можно было бы даже заявить, что репутация Шампани уходит корнями не только в землю, где выращивается виноград, и сохраняется в обширных погребах, где хранится драгоценный урожай, но и во все исторические традиции Франции, во все то, что принесло Франции мировую славу и могущество: победоносные войны, далекие завоевания, колонии, литературу, искусство, науку, денежный

капитал и дух — космополитичный, экспансивный, динамичный — ее истории. Можно было бы заявить, что она производит и разливает по всему миру свое драгоценное вино благодаря той же добродетели, интимной, национальной и исторической, благодаря которой она создала энциклопедию и совершила Революцию, напустила Наполеона на Европу и основала Империю, написала так много знаменитых книг и построила на берегах Сены чудесный универсальный город, где все силы современной цивилизации собраны вместе и поддерживают друг друга в равновесии: аристократия и демократия, космополитический дух и дух национальности, деньги и наука, война и мода, искусство и религия. Если бы у Франции не было своей великой истории, Шампанское так и осталось бы шипучим вином скромного домашнего употребления, которое крестьяне каждый год разливают в бочки для собственного семейного употребления или для продажи в окрестностях города Реймс.

Социальное развитие Римской империи.

Август умер двадцать третьего августа 14 года н.э., сказав Ливии, когда она обнимала его: "Прощай, Ливия, помни о нашей долгой жизни". Светоний добавляет, что перед смертью он спросил друзей, пришедших поприветствовать его, не кажется ли им, что он "*mimum vitæ commode transegisse*" — хорошо разыграл комедию своей жизни. В этой знаменитой фразе многие историки увидели признание, признание долгой роли обмана, которую непревзойденный актер разыгрывал перед публикой. Какая ошибка! Если Август действительно произносил эту знаменитую фразу, он хотел сказать совсем другое. Эрудированный немец продемонстрировал с помощью многих текстов, что древние писатели, и особенно философы-стоики, обычно сравнивали жизнь с театральным представлением, разделенным на различные акты, и с неизбежным эпилогом - смертью, не намереваясь говорить, что это было чем-то несерьезным или неправдивым. Они лишь имели в виду, что жизнь - это действие, которое имеет естественную последовательность от начала до конца, подобно театральному представлению. Тогда нет необходимости переводить выражение Августа "игра—, то есть обман, "закончена", а скорее "драма" — работа, совершенная судьбой, — "закончена".

Драма закончилась, и какая драма! Трудно найти в истории более долгую и беспокойную карьеру, чем та, что была у Августа на протяжении почти шестидесяти лет, с тех далеких дней, когда молодой, красивый, полный честолюбия и отваги, он приехал в Рим, с головой окунувшись в ужасную суматоху, вызванную убийством Цезаря, до этой спокойной смерти, смерти великого мудреца, посреди *римского мира*, ныне распространившегося из конца в конец Империи! После стольких трагических катастроф, обрушившихся на его класс и семью, *эвтаназия* — смерть счастливых — впервые после кончины Лукулла была применена, чтобы закрыть глаза великому римлянину.

Нет лучшего способа дать представление о миссии Римской империи в мире, чем кратко рассказать о жизни и творчестве этого знаменитого персонажа. Август был в нашем столетии в некотором роде жертвой Наполеона I. Экстраординарный ход событий в начале девятнадцатого века произвел столь яркое впечатление на последующие поколения, что на протяжении всего столетия люди могли восхищаться только великими агитаторами, людьми, чья жизнь полна бурь и шумных действий. По сравнению с Наполеоном или Цезарем фигура Августа проста и бесцветна. Римский мир, в разгар которого он умер, был его работой лишь очень косвенно. Август потратил всю свою жизнь на реорганизацию финансов и армии, на подавление восстаний в европейских провинциях, на защиту границ по Рейну и Дунаю, на то, чтобы,

насколько это было возможно, ввести в действие в Риме старую аристократическую конституцию. Весь поглощенный этой службой, серьезной и трудной, он никогда не мечтал о возрождении Империи с помощью могущественной администрации. Даже если бы он захотел этого, у него не было бы средств — людей и денег.

В течение последнего столетия обширность и мощь администрации, правившей Империей, вызывали большое восхищение. Не обсуждая многое из возможного по этому поводу, следует отметить, что это суждение не применимо ко временам Августа и Тиберия, потому что тогда такой администрации не существовало. В течение первых пятидесяти лет существования империи всеми провинциями, как и при Республике, управляли проконсулы или пропреторы, каждого из которых сопровождали квестор, несколько подчиненных чиновников, вольноотпущенники, друзья и рабы. Несколько десятков человек управляли провинциями, огромными, как государства. Август добавил к этому рудиментарному управлению только один орган - прокуратора, избираемого из вольноотпущенников или рыцарей, которому было поручено следить за сбором дани и расходами; то есть заботиться об интересах не провинций, а Рима. Следовательно, правительство было слабым и бездействующим во всех провинциях.

Тот, кто воображает, что римское правительство создано по образцу современных правительств, вторгающееся, всемогущее, вездесущее, обманывает самого себя. В провинции были посланы дворяне, принадлежащие к богатым и знатым семьям, которым, следовательно, не было необходимости слишком сильно грабить подданных; и эти люди правили, используя законы, обычаи, учреждения, семьи дворян каждого места, точно так же, как Англия сейчас делает во многих частях своей Империи. Поскольку в целом эти правители не отличались какой-либо большой активностью, они мало вмешивались во внутренние дела подвластных народов. Сохранить единство Империи и превосходство Италии против всех врагов, внутренних и внешних; разумно использовать это превосходство; в остальном позволить каждому народу жить так, как ему больше нравится: такова была политика Августа и Тиберия, политика первого века нашей эры. Короче говоря, это была всего лишь идея старой аристократической партии, адаптированная к новым временам.

Таким образом, римское правительство в то время мало заботилось о провинциях и не проводило в них какой-либо значительной общественной работы. Она не строила ни дорог, ни каналов, ни гаваней, за исключением тех случаев, когда они были необходимы метрополии; например, Агриппа проложил сеть галльских дорог; Август открыл первые три большие магистрали, пересекавшие Альпы. Было бы ошибкой предполагать, что эти важные сооружения были спроектированы для содействия развитию галльской торговли; это были стратегические магистрали, проложенные для защиты Рейна. По мере того как Галлия постепенно богатела, Риму пришлось признать, что слабых гарнизонов, выделенных в 27 году для обороны Рейна и Дуная, было недостаточно. Необходимо было бы увеличить армию, но финансы были в плохом состоянии. Затем Август решил основать оборону на принципе, что нельзя атаковать все огромные границы одновременно, и поэтому он построил несколько больших военных дорог через Альпы и Галлию, чтобы иметь возможность быстро собирать солдат из всех частей Империи в любой точке, где возникнет угроза, на Рейне или на Дунае.

Имперская политика Августа и Тиберия, которые применяли те же принципы с еще большей энергией, была прежде всего негативной политикой. Соответственно, это могло понравиться только тем, кто отрицал полезность прогресса для людей другого типа, великих агитаторов

масс. Должны ли мы поэтому заключить, что Август и Тиберий были бесполезны? Поступая таким образом, мы рискуем неправильно истолковать всю историю римского завоевания. Просто осознав значение кажущегося бездействия Августа и Тиберия, можно понять суть политики мировой экспансии, инициированной римской аристократией после Второй Пунической войны. Поначалу эта политика была в высшей степени разрушительной. Повсюду Рим либо уничтожал, либо ослаблял, не нации или народности, но республики, монархии, теократии, княжества — то есть политические надстройки, обрамлявшие различные государства, большие или малые; повсюду он ставил на место этих надстроек слабую власть своих правителей, Сената, свой собственный престиж; везде он оставлял нетронутыми или давал большую свободу элементарным формам человеческого общения, семье, племени, городу.

Таким образом, в течение двух столетий Рим продолжал на Востоке и Западе подавлять бюрократию, увольнять или сокращать армии, закрывать королевские дворцы, ограничивать власть жреческих каст или республиканских олигархий, заменяя все эти сложные организации проконсулом с несколькими десятками наместнических секретарей и слуг. Последним мероприятием этой политики, которое я испытал бы искушение назвать "пожиранием государства", было уничтожение династии Птолемеев в Египте. Без сомнения, подавление стольких государств, продолжавшееся в течение двух столетий, не могло быть осуществлено без ужасных потрясений. Было бы бесполезно перерисовывать здесь мрачную картину последнего столетия Республики; достаточно сказать, что грандиозность этого потрясения помешала большинству людей увидеть, что политика Рима по уничтожению государства включала в себя, наряду с силами разложения, благотворные, созидательные силы, способные вызвать новое рождение. Если бы эта политика не выродилась в необузданное разграбление, она могла бы повсюду обеспечить заметную экономию государственных расходов, которые несли беднейшие классы, подавив при этом так много армий, судов, бюрократии, войн. Ясно, что Рим смог бы собирать со всех сторон, особенно на Востоке, значительную дань, просто взяв с различных народов гораздо меньше, чем стоило их предыдущим монархиям и непрерывным войнам. Более того, Рим своими завоеваниями установил по всей огромной Империи то, что мы бы назвали режимом свободного обмена; сделал соседями территории, ранее разделенные постоянными войнами, небезопасным сообщением и международной анархией; и сделал возможным открытие рудников и лесов, доселе недоступных.

Очевидное бездействие Августа и Тиберия было просто конечной и наиболее благотворной фазой политики Рима по уничтожению государства, когда разрушительные силы истощились, и начали действовать созидательные силы. Август и Тиберий лишь неопределенно долго продлевали с помощью мер тот посредственный порядок и то частичное спокойствие, которые были восстановлены после Actium из-за общей усталости; но именно по этой причине они были так полезны миру. В этом мире, в этом посредственном порядке политика экспансии Рима, окончательно избавившегося от всех разрушительных сил, созрела всеми заложенными в ней благами. Наконец, после ужасного кризиса мир смог наслаждаться свободой и автономией, какими он никогда ранее не пользовался и которых, возможно, никогда больше не получит при такой же степени цивилизованности и в таком большом расширении.

Империя тогда охватывала Испанию, Францию, Бельгию, часть Германии и Австрии, Швейцарию и Италию, балканские страны, Грецию, Малую Азию, Сирию, Палестину, часть Аравии, Египта и всю северную Африку. Я не верю, что политический персонал, составлявший

центральное правительство этой огромной империи, когда-либо насчитывал более 2000 человек. Армия, которой было поручено защищать так много территорий, насчитывала около 200 000 человек — меньше, чем нынешняя армия одной только Италии. Последствия такого порядка вещей вскоре стали очевидны; во всем Средиземноморском бассейне началась быстрая и всеобщая экономическая экспансия, которая в меньших масштабах могла бы напомнить то, что наблюдалось в Европе и Америке в девятнадцатом веке. Обрабатывались новые земли, открывались новые рудники, производились новые товары, экспорт отправлялся в регионы, ранее закрытые или неизвестные; и каждый новый источник богатства, создавая новые богатства, способствовал развитию труда и торговли.

Находясь в центре империи, на первом месте среди всех народов, Италия быстро укрепила свое состояние и господство. После безумного грабежа времен Цезаря последовала методичная эксплуатация. Италия привлекала к себе силой политического руководства драгоценные металлы и предметы роскоши со всех концов Империи; наибольшее количество этих вещей проходило через Рим, прежде чем быть разбросанными по всему полуострову в обмен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию Италии, потребляемую в столице. В результате разбогатели средние классы и многие города, особенно города Кампании, Помпеи, Геркуланум, Неаполь, Поццуоли, через которые проходила вся торговля между Италией и Египтом. Кроме того, Италия нашла богатый источник дохода в экспорте вина и масла.

Короче говоря, выйдя наконец из революции, народы Италии сплотились вокруг Рима и императорской власти, объединенные и относительно довольные. В то же время провинции Италии начали между собой большой обмен товарами, людьми, идеями, обычаями по всему Средиземноморью. Рим и Италия были захвачены толпой выходцев с Востока, рабов, вольноотпущенников, торговцев, ремесленников, *литераторов*, художников, акробатов, поэтов, искателей приключений; и одновременно с Римом и Италией возникли сельскохозяйственные провинции Запада, особенно те, что расположены вдоль Дуная. Рим завоевал варварские провинции Европы не только для себя; он завоевал их также и для Востока, который в Мезии, Далмации, Паннонии, среди тех варваров, которые становились цивилизованными и стремились жить в городах, находил заказчиков для своей промышленности в предметах роскоши, для своих художников, преподавателей литературы и пропагандистов религии.

Таким образом, мы можем объяснить себе, почему, начиная со времен Августа, все промышленные города Востока — Пергам, Лаодикия, Эфес, Иераполис, Тир, Сидон, Александрия — вступили в эру нового и блистательного процветания. Наконец, мы добавим исключительное обогащение двух наций, чьи имена возвращаются вновь объединенными в последний раз, — Египта и Галлии. Ко всем многочисленным источникам галльского богатства следует добавить еще один, важность которого легче понять после того, что я сказал о развитии Империи. Плиний рассказывает нам, что вся Галлия плела льняные паруса. Развитие мореплавания, являющееся следствием развития торговли, значительно увеличило спрос на льняную парусину, что объясняет распространение выращивания льна в Галлии и получаемую от этого прибыль.

Что касается Египта, то он не только нашел в умиротворенной империи новые рынки сбыта для своей старой промышленности, но и преуспел в налаживании значительной части новой торговли с крайним Востоком, которая в то время значительно увеличивалась. Из Индии и Китая

ввозились жемчуг, бриллианты, шелковые ткани; ибо использование этих изделий получило широкое распространение в течение этого столетия, как это произошло в недавнее время в Европе и Америке; также импортировались духи и рис, который служил лекарством и для приготовления роскошных блюд.

Единство империи было в гораздо большей степени обусловлено этим великим экономическим развитием, начавшимся при Августе, чем политическими действиями первых императоров. Мало-помалу имперские интересы стали настолько многочисленными и значительными, что Рим увидел, что усилия, необходимые для поддержания единства, уменьшаются. Повсюду, даже в самых отдаленных регионах, формировались могущественные меньшинства, которые работали на Рим и против старых разделяющих, антиобщественных сил, в равной степени против старых традиций и местного патриотизма. Богатые классы повсюду стали особым образом полностью благосклонны к Риму. Следовательно, нет более серьезной ошибки, чем рассматривать Римскую империю как исключительное произведение правительства: на самом деле она была создана двумя различными силами, действующими одна за другой — каждая в свое время, поскольку обе были необходимы: сила разрушения - политика Рима по уничтожению государства; сила восстановления — экономическое объединение. Уничтожение государств, без которого не было бы экономического объединения, было работой правительства и армий. Именно политики Сената разрушили так много государств в результате войн и дипломатических интриг; но экономическое объединение было достигнуто главным образом бесконечно малыми — крестьянами, ремесленниками, образованными людьми - безымянным множеством, которое жило, работало и ушло из жизни, не оставив почти никаких следов или записей. Эти неизвестные, которые трудились, каждый в поисках своего личного счастья, внесли свой вклад в создание Империи не меньше, чем великие государственные деятели и генералы. По этой причине я никогда не могу без определенного волнения смотреть на изуродованные надписи в музеях, случайные находки после великого кораблекрушения древнего мира, сохранившие имя какого-нибудь землевладельца, или купца, или врача, или вольноотпущенника. Смотрите, что осталось от этих поколений безвестных работников, которые были незаменимыми сотрудниками великих государственных деятелей и дипломатов Рима и без которых политический мир Рима был бы всего лишь гигантским предприятием военного разбоя!

Великая историческая заслуга Августа и Тиберия состоит в том, что своей мудрой, осмотрительной, на первый взгляд бездеятельной политикой они руководили переходом от разрушительной фазы к фазе реорганизации. Переход, как и все переходы, был трудным; разрушающие силы еще не были исчерпаны; созидательные силы были все еще очень слабы; мир того времени находился в неустойчивом равновесии, сильные потрясения, безусловно, еще были возможны. Без сомнения, трудно сказать, что произошло бы, если бы вместо того, чтобы руководствоваться политикой Августа, мир попал в руки авантюрной олигархии, подобной той, что собралась вокруг Александра Македонского; но мы можем, по крайней мере, утверждать, что мудрость и благоразумие Августа, которые двадцать веков спустя проявляются как бездействие, многое сделали для предотвращения подобных беспорядков, последствия которых в столь истощенном мире были бы серьезными.

Также неверно полагать, что эта политика была легкой. Умеренность и пассивность, даже когда они хороши для управляемых, разрушают правительства, которые всегда должны что-то делать, даже если это всего лишь ошибки. На самом деле, хотя верховная власть обычно приносит

отдачу, и немалую, тому, кто ею пользуется, особенно в монархиях, вместо этого она обошлась Августу и Тиберию несправедливо дорого. Августу пришлось предложить чудовищу, как Тиберий называл Империю, почти всю свою семью, начиная с любимой Юлии, и потратить на государство почти все свое состояние. Мы знаем, что, хотя за последние двадцать лет своей жизни он получил по многочисленным завещаниям сумму в миллиард четыреста миллионов сестерциев, он оставил своим наследникам только сто пятьдесят миллионов сестерциев, все остальное было потрачено им на Республику: это был единственный гражданский список этого любопытного монарха, который, вместо того чтобы обирать своих подданных, потратил на них почти все, что у него было. Напрасно говорить о Тиберии: империя стоила ему единственного, что, возможно, было ему дорого, - его славы. Философская история была бы неправа, если бы не признавала величия этих жертвоприношений, которые являются последней славой римской знати. Старый политический дух римской знати дал Августу и Тиберию силы пойти на эти жертвы, и они, вероятно, спасли древнюю цивилизацию от тяжелейшего кризиса.

Можно заметить, что Август и Тиберий работали на благо империи и будущего, сами того не осознавая. Далекие от понимания того, что экономический прогресс их времени объединит Империю лучше, чем это могли бы сделать их законы и их легионы, они боялись этого; они верили, что это повсюду распространит "коррупцию", даже в армиях, и, следовательно, ослабит имперскую силу сопротивления варварам на Рейне и Дунае. Опасность для Германии — будущее должно было наглядно продемонстрировать это — была гораздо меньше, чем считали Август и Тиберий. Другими словами, первые два императора думали, что единство Империи будет поддерживаться энергичной, сплоченной армией, в то время как экономический прогресс, распространявший "коррупцию", как им казалось, ставил ее под угрозу.

Произошло прямо противоположное: армия продолжала приходить в упадок, несмотря на отчаянные усилия Тиберия, в то время как внутренняя сила экономических интересов прочно связывала страны. Невозможно возражать против такого хода рассуждений, который сам по себе наиболее точен; но какой вывод можно сделать из него? В хаотическом конфликте страстей и интересов, из которых состоит мир, поступки человека или партии бесполезны в сравнении с объективной истинностью реализуемых идей или достигнутым успехом. Их полезность зависит от направления усилий, от целей, которые они преследуют, от результатов, которые они получают. Есть люди и партии, о которых можно сказать, что они были правы, когда ошибались, когда химерические идеи и ошибки поддерживали их мужество для осуществления эффективных усилий; вместо этого есть другие, о ком можно сказать, что они были неправы, когда их ясное видение настоящего и прошлого удерживало их от выполнения какого-то болезненного, но необходимого долга.

Конечно, древнеримским традициям было суждено быть сокрушенными вторжением восточных идей и привычек; но чего могло бы не произойти, если бы каждый понимал это с самых времен Августа; если бы тогда никто не противостоял вторжению ориентализма; если бы мистицизм и монархия божественного права преобразили Италию или Империю за пятьдесят лет вместо трех столетий? Я бы без всяких колебаний заявил, что определенные ошибки в определенных сочетаниях гораздо мудрее соответствующих истин. Нет ничего более полезного в жизни, чем сопротивление, хотя и кажущееся бесполезным, общественным силам, обреченным на гибель, потому что они, борясь до самого конца, всегда преуспевают в том, чтобы навязать часть себя победившей силе, и результат всегда лучше, чем полная и неожиданная победа противостоящей силы. Упорному сопротивлению, с которым республиканские принципы

боролись с азиатской монархией в Риме, мы должны даже сегодня воздавать должное за то, что Европа не была обречена, подобно Азии, нести вечное иго полубожественного абсолютизма, даже при династических режимах. Какая социальная сила, обреченная на гибель, все еще имела бы силы для борьбы, если бы она ясно предвидела свой неизбежный будущий распад; если бы она немного не укрепила себя каким-нибудь обманчивым видением своего собственного будущего?

Август и Тиберий были обмануты. Они хотели возродить то, что было обречено; они боялись того, что в данный момент не представляло опасности. Они являются последними представителями политики, начатой Сципионами, а не инициаторами политики, создавшей бюрократическую империю Диоклетиана: и все же именно в этом их слава. Они имели право ошибаться; и они оказали Империи огромную услугу по той самой причине, что определенный результат их усилий был диаметрально противоположен идее, которая их вдохновляла. Но нам не нужно заикливаться на этом моменте. Таковы были идеи двух императоров и результаты их работы; истинная Империя, известная всем, монархическая, азиатизированная, бюрократическая Империя, выросла из этого малоуправляемого начала, которому Август и Тиберий позволили жить в условиях свободы самой большой автономии. Как оно сформировалось? Это великая проблема, которую я попытаюсь решить в последовательности своей работы. Естественно, я не могу сейчас резюмировать все идеи, которые я намереваюсь развить: я ограничусь здесь некоторыми простейшими соображениями, которые кажутся мне наиболее надежными.

Картина Империи, столь блестящая с экономической точки зрения, в гораздо меньшей степени такова с интеллектуальной: здесь мы касаемся ее большой слабости. Уничтожив так много правительств, особенно на Востоке, Рим в то же время обезглавил интеллектуальную элиту древнего мира, поскольку дворы монархий были великими очагами умственной деятельности. Таким образом, Рим вместе с государствами и правительствами разрушил научные и литературные учреждения, центры искусства, традиции утонченности, вкуса, эстетической элегантности. Таким образом, повсюду, во времена римского господства, практический дух одерживал верх над философским и научным, коммерция - над искусством и литературой, средний класс - над исторической аристократией. Уже ослабленные свержением самых могущественных азиатских монархий, эти элиты получили последний удар, когда исчезла их последняя защита - династия Птолемеев в Египте.

Когда Август начал управлять Империей, классы, олицетворяющие традиции, культуру, возвышенную и бескорыстную деятельность духа, были повсюду многочисленны, богаты, энергичны. Прошло совсем немного времени, прежде чем эти последние остатки исчезли под наплывом среднего класса, раздутого крупными экономическими завоеваниями первого столетия. В это отношение первое и второе столетия христианской эры напоминают наше время. Во всей Империи, как в Риме, так и в Галлии, в Азии, существовали старые аристократические семьи, богатые и прославленные, но они не были классом наибольшей власти. Под их началом стоял средний класс торговцев, землевладельцев, ораторов, юристов, профессоров и других интеллектуалов, и он был настолько многочисленным, удобным и могущественным, что заставил все великие общественные силы, от правительства до промышленности, отказаться от старой аристократии и ухаживать за ней, как за новой любовницей. Искусство, промышленность, литература были вульгаризированы в те два столетия, как и сегодня в Европе и Америке, потому что им приходилось работать в основном на

средний класс, который был гораздо более многочисленным и в то же время более грубым, чем древняя элита. Это была первая эпоха *дешевизны*, вульгаризации, я хотел сказать, *сделано в Германии*, которая вошла в историю. Было изобретено искусство серебрения, чтобы дать *буржуазии* по умеренным ценам сладкую иллюзию обладания предметами из серебра; великие мыслители исчезли; вместо них появилось множество руководств, трактатов, энциклопедий, профессоров, которые обобщали и вульгаризировали. Философия постепенно сошла на нет, как и все высшие формы литературы, и началось царствование декламаторов и софистов, то есть лекторов, юристов, журналистов. В живописи и скульптуре больше не было ни оригинальных школ, ни великих имен, но количество статуй и барельефов бесконечно увеличивалось. Картины Помпеи и многие статуи и мрамор, которыми сейчас восхищаются в европейских музеях, являются примерами этого индустриализованного искусства, недорогого, не создающего ничего оригинального, но предоставляющего семьям в комфортных условиях сносные копии произведений искусства — когда-то привилегию только королей.

Имперская бюрократия, сформировавшаяся в основном во втором веке, была еще одним следствием этого расширения средних классов. Во втором веке в моду вошли многие гуманитарные идеи, которые имеют определенное сходство с современными. Возросла забота об общем благополучии, о порядке, о справедливости, и это увеличило число чиновников, которым было поручено обеспечивать всеобщее благополучие административными средствами. Движение было поддержано интеллектуалами из средних классов, особенно юристами, которые стремились извлечь выгоду из своих занятий, получая от правительства должности, на которых они могли бы хорошо или плохо использовать свои несколько искусственные способности. Если аристократическая идея, олицетворяемая Августом и Тиберием, задерживала, то она не могла остановить нашествие этой бюрократической саранчи; правительство постоянно проявляло себя слабее интеллектуальных классов. Мало-помалу вся Империя была бюрократизирована; основанная аристократией, состоящей исключительно из римских государственных деятелей и солдат, она, в конце концов, стала управляться космополитической бюрократией, состоящей из людей с мозгами: ораторов, *литераторов*, юристов. Поэтому, на мой взгляд, ошибаются те, кто считает, что имперская бюрократия создала единство Империи; тогда как формирование имперской бюрократии было одним из следствий этого естественного объединения, главную причину которого следует искать в великом экономическом движении. Экономическое объединение было первым и было полным; затем пришло политическое единство, достигнутое имперской бюрократией, которое было менее полным, чем объединение материальных интересов.

После материального единства, после политического, должно было сформироваться моральное и интеллектуальное; но в этот момент силы Рима дрогнули. Рим собрал под своим скипетром слишком много рас, слишком много видов культуры, слишком разнообразные религии; его дух был слишком исключительно политическим, административным и судебным; поэтому он не мог примирить идеи, ассимилировать обычаи, объединить чувства, объединить религии посредством своих законов и декретов. Для этого была необходима сила идей, доктрин, верований, которые чиновники администрации не могли ни создавать, ни распространять. Работа должна была быть выполнена вне правительства и частично против него. Это работа христианства.

Многие спрашивали меня, как я буду рассматривать христианство в последовательности своей работы. Короче говоря, я могу сказать, что я буду следовать методу, отличному от того, которого

придерживались историки христианства до сих пор: они специально изучали, как формировалась та часть христианства, которая все еще живет и является его душой, а именно религиозная доктрина. По этой причине они обычно отделяют его историю от истории Империи, делая ее главным аргументом, рассматривая историю римского общества как подчиненную ей и, следовательно, лишь приложение. Я предлагаю изменить ход исследования, взяв христианство как важную, но отдельную главу в истории Империи. Если в течение трех столетий христианство постепенно возвращалось к своему истоку, то есть становилось чисто религией и нравственным учением, то в течение нескольких столетий в древнем мире это было нечто гораздо более сложное; правительство и администрация, которые стремились не только регулировать отношения между человеком и Богом, но и управлять интеллектуальной, социальной, моральной, политической и экономической жизнью людей! Историку следовало бы объяснить, как эта новая Империя — ибо это действительно была новая Империя — сформировалась в Риме и на его развалинах: это проблема гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд.

Было сказано и часто повторялось, что Церковь в Средние века в Европе была продолжением Римской империи, что папа все еще является реальным преемником императора в Риме. На самом деле он носит один из императорских титулов, *верховный понтифик*. Замечание справедливое, но оно не должно заставлять нас забывать, что христианская империя, если можно так ее назвать, и Римская империя были между собой столь же радикально противоположны, как две силы, создавшие ту и другую; политика и интеллектуальность. Дипломаты, полководцы, законодатели Рима создали политическими средствами, войнами, договорами, законами грандиозное экономическое и политическое единство, которое они укрепили, совершенно отказавшись от формирования большого интеллектуального и морального единства. Интеллектуалы, составившие самое могущественное ядро Церкви после четвертого века, снова подхватили римскую идею единства и империи; но они перенесли ее из сферы материи в сферу разума, из конкретного мира экономических и политических интересов в мир идей и верований. Они пытались пером и словом повторить дело Сципионов, Лукулла и Цезаря, завоевать мир, на самом деле не вторгаясь в него с армиями, но распространяя новую веру, создавая новую мораль, новую метафизику, которые должны были вобрать в себя интеллектуальную деятельность греко-латинской культуры, от истории до науки, от права до философии.

Таким образом, средневековая церковь была самым великолепным зданием, которое до сих пор создавали интеллектуальные классы. Могущество этой империи литераторов возрастало по мере того, как мало-помалу другая империя, империя генералов и дипломатов, приходила в упадок. Христианство с безразличием наблюдало за распадом Римской империи; более того, когда оно могло, оно помогало распаду и было одной из причин того политического и экономического разложения, которое повсюду последовало за великим римским единством. Политическое и экономическое единство, с одной стороны, моральное и интеллектуальное - с другой, кажутся в истории европейской цивилизации вещами противоположными и непримиримыми; когда одно формируется, другое разрушается. Поскольку Римская империя нашла в интеллектуальном и моральном разобщении средство более легкого сохранения экономического и политического единства, Церковь разрушила политическое и экономическое единство древнего мира, чтобы создать и надолго сохранить свое собственное моральное и интеллектуальное единство.

Я попытаюсь, прежде всего, объяснить происхождение, развитие и последствия этого противоречия, потому что я верю, что объяснение этого проясняет один из самых важных моментов во всей истории нашей цивилизации; по правде говоря, это противоречие, по-видимому, является ее бессмертной душой. Например, по времени Август находится на расстоянии двадцати веков от нас, но ментально и морально он, напротив, гораздо ближе, потому что в течение последних четырех столетий Европа возвращалась к Риму, то есть стремилась воссоздать великое политическое и экономическое единство за счет интеллектуального и морального. В этом факте, в частности, заключается огромная историческая важность того, что называется классическим возрождением. Это указывает на начало исторического поворота, который соответствует в направлении, противоположном тому, что произошло в третьем и четвертом веках христианской эры. Классический ренессанс заново освободил научный дух древних от средневековой метафизики и, следовательно, создал науки; заново открыл некоторые основные политические и юридические идеи древнего мира, среди них идею неделимости государства, которая разрушила основы феодализма и всех политических порядков средневековья; и дал большой импульс борьбе против политического господства Церкви и образованию великих государств. Франция и Англия лидировали, и в течение двух столетий Европа изнуряла себя подражанием им. После движения за политическое объединение последовало экономическое. Оглянитесь вокруг: что вы видите? Мир, который больше похож на Римскую империю, чем на Средние века; это мир великих государств, господствующие классы которых разделяют почти все основные идеи греко-латинской цивилизации; каждый из них, стремясь улучшить свои собственные условия, вынужден устанавливать между собой и другими строжайшие экономические отношения и вовлекать в систему общих интересов как варварские страны, так и страны с иной цивилизацией. Но как? Скрупулезно уважая все интеллектуальные и моральные различия людей. Какое значение имеет, будет ли народ католиком или протестантом, мусульманином или буддистом, монархом или республиканцем, при условии, что он покупает, продает, принимает участие в экономическом единстве современного мира? Такова политика современных государств и была политикой Римской империи. Часто наблюдалось, что в современном мире, столь хорошо управляемом, наблюдается большее интеллектуальное и моральное разнообразие, чем во времена страшной анархии средневековья, когда все образованные классы говорили на одном языке - латыни, а низшие классы придерживались по некоторым фундаментальным вопросам одних и тех же идей — тех, которым учила Церковь. Это правильное наблюдение, но из которого нет необходимости делать слишком много выводов, поскольку в нашей истории материальное единство и идеал естественным образом исключают друг друга.

В более обширном мире мы возвращаемся к состоянию Римской империи в ее начале; к огромному экономическому единству, которое, несмотря на aberrации протекционизма, величественнее и прочнее всех своих предшественников; к политическому единству, не столь великому, но значительному, потому что даже если мир не вечен, это, по крайней мере, нормальное состояние европейских государств; к безразличию ко всем усилиям, прилагаемым для установления морального и идеального единообразия среди наций, больших и малых, которые участвуют в этом политическом и экономическом единстве. Вот почему мы понимаем Августа и его времена гораздо лучше, чем времена Карла Великого, хотя у последнего в нашем распоряжении больше документов; вот почему мы можем написать историю Августа и исправить так много ошибок, допущенных о нем предыдущими поколениями. Мне часто случалось обнаруживать, *à propos* просматривая тома, написанные об Августе, что мое

противоречие традиции порождает своего рода инстинктивную неуверенность. Многие говорят: "Да, эта книга интересна; но возможно ли, что на протяжении двадцати веков все ошибались? — что нужно было подождать до 1908 года, чтобы понять, что произошло в восьмом году?" Но эти двадцать столетий сводятся, насколько это возможно для понимания Августа, к немногим более чем ста годам. Поскольку Август был последним представителем исчезающего мира, его фигура вскоре стала неясной и загадочной. Тацит и Светоний видели его уже окутанным туманом того нового духа, который на столько веков должен был скрыть от человеческих глаз чудесное зрелище языческого мира. Затем туман превратился в туман и становился все гуще, пока Август не исчез или не превратился в бесформенную тень. Прошли столетия; туман начал рассеиваться перед возвращающимся солнцем древней культуры; его фигура появилась снова. Пятьдесят лет назад мрак совсем рассеялся; фигура стоит на самом виду с четко очерченными очертаниями. Я верю, что история, которую я написал, больше похожа на правду, чем предшествующие ей, но я не считаю себя из-за этого чудотворцем. Я знаю, что смог исправить многие предыдущие ошибки, потому что я был первым, кто внимательно посмотрел, когда настал момент увидеть и понять.

Римская история в современном образовании.

Когда я объявил о своем намерении написать новую историю Рима, многие люди выразили чувство удивления, подобное тому, которое они испытали бы, если бы я сказал, что собираюсь удалиться в монастырь. Можно ли было поверить, что стремительный современный век, устремляющий все свои силы в будущее, найдет время оглянуться назад, хотя бы на мгновение, на это такое далекое прошлое? То, что моя попытка была опрометчивой, было общим мнением не только друзей и критиков, но и издателей, которые повсюду поначалу проявляли скептицизм и нерешительность. Все они говорили, что общественность совершенно не в курсе римских дел. Напротив, факты показали, что и в наш век, когда люди культуры так стремятся ко всему современному, они готовы уделять внимание событиям и персонажам древнего Рима.

Эта вещь, как и естественно, кажется странной тем, кто не считал ее возможной; следовательно, мало кто видел, насколько простым и ясным является ее объяснение. Тем, кто выказывал удивление по поводу того, что история Рима могла стать модной в парижских салонах, я всегда отвечал: "Моей истории повезло, потому что это была история Рима". Написанная тем же методом и в том же стиле история Венеции, или Флоренции, или Англии не имела бы такого жребия. Не следует забывать, что история Рима занимает в интеллектуальном мире привилегированное место. Мало того, что ее изучают во всех школах цивилизованного мира; мало того, что почти все государства тратят деньги на то, чтобы выявить все документальные свидетельства, которые земля все еще скрывает; но в то время как все другие истории изучаются урывками, история Рима, так сказать, переделывается каждые пятьдесят лет, и тот, кто приходит в нужное время, чтобы взяться за дело, может завоевать репутацию более широкую, чем у большинства историков.

В истории Рима есть, так сказать, вечная молодость, и для умов того, что обычно называют европейско-американской цивилизацией, она обладает особой привлекательностью. Из каких глубоких источников истекает эта вечная молодость? В чем состоит эта особая сила притяжения и обновления? Мне кажется, главная причина вечного очарования историей Рима заключается в том, что она включает в себя, как на миниатюре, нарисованной простыми линиями, четко очерченные, все существенные явления общественной жизни; так что каждая

эпоха способна найти в ней свой собственный образ, свои самые серьезные проблемы, свои самые сильные страсти, свои самые насущные интересы, свою самую острую борьбу; поэтому римская история вечно современна, потому что каждой новой эпохе остается только выбрать ту часть, которая больше всего похожа на нее, чтобы обрести себя.

В интеллектуальной истории девятнадцатого века это ведущее явление нашей культуры отчетливо проявляется. Если бы кто-нибудь спросил меня, почему за прошедшее столетие история Рима оказалась такой интересной, я бы без колебаний ответил: "Потому что европейцы и американцы больше, чем где бы то ни было, обнаруживают там величайший политический переворот за сто лет, последовавших за Французской революцией, — борьбу между монархией и республикой". От пылкого восхищения Римской республикой, вдохновлявшего людей Французской революции, до безмерных цезарских апологетик Дюруи и Моммзена, от пылкого культа Брута до подробных исследований римской администрации первых двух столетий, все историки изучали и рассматривали римскую историю главным образом с точки зрения борьбы между двумя принципами, которые и по сей день вносят неизлечимый разлад в умы старой Европы и из которых вы вышли счастливчиком! Вы свободны в новом мире; вы положили конец борьбе между латинским принципом безличного государства и восточным принципом династического государства; между государством, задуманным как всеобщее достояние, принадлежащее каждому и, следовательно, ни от кого не зависящее, и государством, олицетворенным в семье происхождения более высокого и благородного, чем обычное, в которой вся власть исходит от некоего героя-основателя благодаря таинственной добродетели, неподвластной разуму и человеческой философии; вы покончили с конфликтом между человеческим государством, простым, без помпы, без драматических символов — республикой, как мы, люди двадцатого века, понимаем ее. это, и как вы, американцы, это понимаете и практикуете — и монархию божественного права, тщеславную, полную церемоний и этикета, деспотическую по внутреннему устройству, которая все еще существует в Европе в более или менее ложных формах. Теперь легко объяснить, как в эпоху, когда борьба между этими двумя концепциями и этими двумя формами государства была столь острой, история Рима могла так волновать умы.

Ни в одной другой истории эти две политические формы не встречались друг с другом в более непримиримом противостоянии характеров. Республика в том виде, в каком ее основал Рим, была настолько безличной, что, в отличие от современных, более демократических республик, в ней не было даже фиксированной бюрократии, и все государственные функции выполнялись выборными магистратами — даже исполнительной — от общественных работ до полицейской системы. В древней монархии, созданной Востоком, династический принцип был настолько силен, что государство по неотъемлемому праву считалось личной собственностью суверена, который мог расширять его, сокращать, делить между своими сыновьями и родственниками, завещая свое королевство и своих подданных, как землевладелец распоряжается своим имуществом и своим скотом. Более того, хотя сегодня правителям Европы нравится обращаться с добрым Господом довольно фамильярно, правители Востока считались богами сами по себе.

Отсюда легко понять, какой ужасной должна была быть борьба между двумя столь антагонистическими принципами с того времени, когда в Империи, неизмеримой и сложной, институты Республики оказались неадекватными для управления столькими разнообразными народами и столь обширными территориями. Римляне продолжали, как и вначале, бунтовать против идеи поставить человека-бога во главе государства, чтобы самим стать, когда они

окончательно станут хозяевами мира, рабами династии. Конфликт между двумя принципами длился столетие, от Цезаря до Нерона, наполнил историю Рима отвратительными трагедиями, но закончился заключением славного компромисса; ибо Риму удалось внедрить в монархическое устройство империи некоторые по сути республиканские идеи, среди прочих, идею неделимости государства. Не только Август и его семья, но также Флавианы и Антонины никогда не думали, что Империя принадлежит им, что они могут распоряжаться ею как частной собственностью; напротив, они рассматривали ее как вечное и неделимое достояние римского народа, которым им, как представителям *populus*, было поручено управлять.

Поэтому, как я уже сказал, легко объяснить, почему история Рима, как никогда прежде, рассматривалась как великая война между монархией и республикой. Действительно, проблема республики и монархии, всегда занимавшая умы писателей девятнадцатого века, была, возможно, главной причиной серьезных ошибок, допущенных римской историографией в этот период, — ошибок, которые я стремился исправить. Например, республиканцы поверили всем абсурдным историям, рассказанным Светонием и Тацитом о семье Цезарей, из-за предвзятой ненависти к монархии; а монархисты чрезмерно преувеличили благополучие первых двух столетий Империи, чтобы доказать, что провинции жили счастливо при монархическом правлении, как никогда ни до, ни после. Моммзен создал невозможного цезаря, почти превратив этого великого демагога в литературное предвосхищение Бисмарка.

Однако мало-помалу, по мере того как борьба между республикой и монархией постепенно затихала в Европе, в последние двадцать пять лет девятнадцатого века интерес к истории Рима, задуманной и написанной в этом духе, снизился. Истинная причина, по которой Моммзена и Дюруи сегодня так мало читают, почему в начале двадцатого века римская история больше не вызывает энтузиазма в их книгах, заключается, прежде всего, в том, что читатели больше не находят на этих страницах того, что непосредственно соответствует реальной действительности. Следовательно, следовало полагать, что римская история состарилась и устарела; тогда как состарилась всего лишь одна из ее гибнущих и разлагающихся форм, а не ее душа, которая вечно жива и молода. Это настолько верно, что писателю стоило только рассмотреть старую историю с новой точки зрения, чтобы Цезарь и Антоний, Лукулл и Помпей, Август и законы 18 года до нашей эры стали предметами модных разговоров в парижских гостиных, в самом изысканном интеллектуальном центре мира.

Мне никогда не было трудно осознать, что современные Европа и Америка, Европа и Америка железных дорог, промышленности, чудовищных быстрорастущих городов, могли бы найти в Древнем Риме часть своих собственных душ, беспокойных, беспокойных, жадных. В Риме времен Цезаря, огромном, возбужденном, кишачем вольноотпущенниками, рабами, ремесленниками, приезжающими отовсюду, переполненном огромными многоквартирными домами, по которым с утра до ночи пробегает безумная толпа, жаждущая развлечений и отвлечений; в том Риме, где собралось бесчисленное количество населения, оторванного от земли, от семьи, от родной страны, и где под давлением стольких людей сбродилась вся движущая энергия истории и все силы, разрушающие мораль и жизнь, — порок и интеллектуальность, империалистическая политика, смертельно опасная для жизни. эпидемии; в этом переменчивом Риме, то великолепном, то убогом; то великодушном, то жестоком; полном величия, изобилующем ужасами; в этом великом городе легко найти все огромные современные мегаполисы: Париж и Нью—Йорк, Буэнос-Айрес и Лондон, Мельбурн и Берлин.

Рим создал слово, обозначающее это удивительное и чудовищное явление истории, огромный город, лживый источник жизни и смерти — *urbs*—*город*. Отсюда неудивительно, что бесчисленные *города*, которые грандиозный экономический прогресс девятнадцатого века вызвал к жизни во всех частях Европы и Америки, смотрят на Рим как на свою старшую сестру и наместницу.

Более того, в историю Рима историческая аристократия Европы может заглянуть как в зеркало своей собственной судьбы, поскольку повсюду она пытается сохранить богатство и власть, играя на бирже, женясь на дочерях пивоваров-миллионеров, занимаясь коммерцией; дворянство, которое прибегает в попытке сохранить свой престиж среди средних классов к средствам самой безрассудной демагогии. Сулла, Лукулл, Помпей, Красс, Антоний, Цезарь - потрясающие примеры аристократии, стремящейся сохранить богатство и власть, дерзко используя силы, угрожающие ее собственному уничтожению.

Несколько критиков моей работы, особенно французов, заметили, что политика экспансии, проводимая Римом во времена Цезаря, как я ее описал, очень напоминает повальное увлечение империализмом, которое около десяти лет назад охватило Англию. Это правда, ибо империализм во времена Цезаря был тем, что существовало в Англии последние полвека, — средством, которым пользовалась часть исторической аристократии для удержания власти и обновления пришедшего в упадок престижа, удовлетворения материальных интересов и тешения гордости масс опьянением тщеславия. Точно так же соперничающие партии во Франции — социалистические, представляющие трудящиеся классы; радикальные, представляющие средние классы; прогрессивные и монархические, представляющие богатых бюргеров и аристократию, — могут обнаружить некоторые из своих страстей, своих деяний, своих оскорблений в политической борьбе, которая волновала эпоху Цезаря; в этих скандалах, в этих судебных процессах, в этом фуроре памфлетов и выступлений. Это настолько верно, что в результате мою книгу постигла во Франции странная судьба: каждая партия использовала ее в качестве аргумента в свою пользу. Дрюмон воспользовался этим, чтобы продемонстрировать Франции, что случается со страной, когда она позволяет своему национальному духу быть испорченным иностранным притоком, стремясь убедить своих сограждан в том, что евреи во Франции совершают ту же работу по интеллектуальному и моральному разложению, которую восточные люди совершили в Риме. Радикальные писатели, такие как Андре Морель, искали в моих работах аргументы для борьбы с колониальной и империалистической политикой. Империалисты также, как и Пинон, искали аргументы в поддержку своей точки зрения. Разве я не просто демонстрировал, что политика экспансии - это своего рода универсальный и постоянный закон, который периодически актуализируется благодаря действию одних и тех же сил, одними и теми же способами?

Не следует думать, что эпоха Цезаря, такая беспокойная, такая бурная, является нашим единственным зеркалом в истории Рима. Когда я напишу отчет об имперском обществе первого и второго веков, наше время сможет еще больше узнать о себе, увидеть, каким должно быть будущее Европы и Америки, если в течение столетия или двух в них не будет глубоких политических и социальных потрясений. В этом великом *римском мире*, длящемся два столетия, мы можем с особой легкостью изучать явление, которое можно обнаружить во всех богатых цивилизациях, культурных и относительно мирных, — явление, на мой взгляд, наиболее важное в современной европейской жизни, феминизацию всей социальной жизни; то есть победу женского начала над мужским духом. Не вообразайте, что феминистки, проблемы и

споры, которые они возбуждают в современном обществе, являются чем-то совершенно новым и своеобразным для нас; это всего лишь особые формы явления более общего, растущего влияния, которое женщина оказывает на общество по мере неуклонного роста цивилизации, культуры и благосостояния. И здесь история Рима также предельно ясна. В ней мы видим развитие того масштабного противостояния между женским духом и мужским началом, которое является одним из важнейших явлений всей истории человечества. Мы видим, как мужской дух — дух господства, силы, господства, отваги — безраздельно властвовал, когда маленькому сообществу пришлось вести свои первые тяжелые бои с природой и мужчинами. Отец командовал тогда как монарх в своей семье; женщина была лишена прав, свободы, личности; ей оставалось только повиноваться, рожать детей и воспитывать их. Но успех, власть, богатство, большая защищенность незаметно ослабили узкие оковы первой борьбы; затем женский дух — дух свободы, удовольствия, искусства, бунта против традиций — постепенно набрал силу и начал шаг за шагом подрывать в своих основах суровое мужское правление.

Тяжелый конфликт двух столетий полон трагедий и катастроф. Поддерживаемый традицией, раздраженный все более смелым бунтом женщины, мужской дух время от времени сходил с ума; и грубо срывал с нее дорогие украшения и пытался лишить ее мягкой одежды и редких духов; и когда она уже привыкла появляться в мире и блистать там, он пожелал загнать ее обратно в дом и приставил к ней там стражу, несмотря на самые свирепые угрозы закона. Иногда, отчаявшись, он наполнял Рим своими стенаниями; протестовал, что свобода женщины обходится мужчине слишком дорого; кричал, что счета портнихи и ювелира приведут Рим, Империю, весь мир к гибели. Напрасно, благодаря богатству, в цивилизации, полной восточных влияний, женщина набирала силу, возвышалась и вторгалась во все общества, пока в огромной Империи первого и второго веков, на пике своего могущества, красотой, любовью, роскошью, культурой, расточительностью и мистицизмом она не доминировала и не разрушила общество, которое в утонченности богатства и интеллектуальности утратило острые достоинства первопроходца.

Нет необходимости далее распространяться по этому вопросу; лучше будет остановиться на причинах и следствиях этого необычного явления. История Рима была и может быть такой богатой, такой многообразной, такой универсальной, потому что за свою долгую историю древний Рим собрал в себя, спаял, сплавил самые разнообразные элементы социальной жизни всех народов и всех регионов, с которыми он соприкасался. Она знала продолжающуюся войну и прерванный мир на протяжении веков. Она сохраняла единство под своим обширным влиянием, государства, одряхлевшие вместе с древнейшей цивилизацией, и народы, едва вышедшие из состояния первобытного варварства. Оно с жадностью эксплуатировало интеллект, трудолюбие, науку первых; физическую силу, воинскую доблесть и отвагу вторых; оно впитало пороки, привычки, идеи эллинизированного Востока и перенесло их на неукротимый Запад. Взяв людей, идеи, деньги повсюду и у каждого народа, она создала сначала империю, затем литературу, архитектуру, администрацию и новую религию, которые были самым грандиозным синтезом древнего мира. Таким образом, римский мир оказался обширнее и сложнее греческого, хотя и не приобрел пропорций, превышающих возможности человеческого разума; и по мере того, как он рос, он сохранял это драгоценное качество, отсутствующее в греческом, — единство; отсюда ясная ясность римской истории. В нем есть все, и все исходит из одного центра, так что понимание легко. Без сомнения, было бы опрометчиво заявлять, что только история Рима может служить очерком всеобщей истории. Вполне вероятно, что может быть найдена другая история, обладающая теми же двумя качествами,

которыми так примечательна история Рима, — универсальностью и единством, — но одно мы можем утверждать: до сих пор только история Рима выполняла эту функцию универсального компендиума, который объясняет, как ее всегда изучали ученые и образованные люди из каждой части цивилизованного европейско-американского мира, и как в современной интеллектуальной жизни это история универсальная и космополитическая *по преимуществу*. Такое положение вещей имеет гораздо большее практическое значение, чем предполагается. Действительно, было бы серьезной ошибкой полагать, что космополитическая католицизм - идеальное приданое исключительно римской истории, с которым все сыны Рима могут поздравлять себя как с чем-то, делающим честь только их потомству. Я бы сказал, что эта универсальность составляет часть материального достояния всего латинского народа; мы можем занести ее в исторический список всех благ, которыми обладают сыны Рима, и всех их разумных надежд на будущее.

Это утверждение может на первый взгляд показаться вам парадоксальным, странным и неясным, но я думаю, краткого изложения будет достаточно, чтобы прояснить его. Универсальность истории Рима, легкость нахождения в ней моделей в миниатюре всей нашей жизни будут иметь такой эффект, что классические исследования останутся образовательной основой интеллигентных классов во всей европейско-американской цивилизации. Эти исследования могут быть реформированы; они могут быть, как и следовало, ограничены меньшим числом людей; но если не желательно — а этого, конечно, не может быть, — чтобы в будущем все люди были чисто техническими способностями и просто живыми машинами для создания материальных богатств; если, напротив, желательно, чтобы в каждой нации немногие избранные, которые правят, обладали философским сознанием всеобщей жизни, то нет средства, более подходящего для привития этого философского сознания, чем изучение древнего Рима, его истории, его цивилизации, его законов, его политики, его искусства и его религий, именно потому, что Рим является центром мировой культуры. самый полный и ясный синтез вселенской жизни.

Изучение классики является одним из самых мощных средств интеллектуального и морального воздействия на англосаксонскую и германскую цивилизации, которыми обладают латиняне, представляя в современных условиях для латинских народов своего рода интеллектуальный потенциал, унаследованный от их предков. Молодые немцы и англичане, изучающие греческий и латынь, переводящие Цицерона или толкующие Горация, впитывающие латинский дух, становятся идеально и морально ближе к нам, сами того не подозревая, готовятся принять наше интеллектуальное и социальное влияние в других областях, делаются в большей или меньшей степени похожими на нас. Действительно, можно сказать, что, если отвлечься от материальных интересов, Рим все еще остается в ментальной сфере сильнейшей связью, которая объединяет самые разные народы Европы; что он объединяет французов, англичан, немцев в идеальной идентичности, которая частично преодолевает разнообразие в речи, в традициях, в географическом положении и в истории. Если бы общие классические исследования не сделали высшие классы Англии, Франции и Германии родственными душами, Рейн и Ла-Манш разделили бы три ментально столь разные нации, что они были бы непроницаемы друг для друга.

Следовательно, космополитическая универсальность римской истории - это своего рода общее благо, которое латинские народы должны защищать всеми своими силами, заботясь о том, чтобы никакая другая история не узурпировала ее место в современной культуре; чтобы она

оставалась типичной схемой, идеальной моделью всеобщей истории в воспитании грядущих поколений. Латинский цивилизованный мир нуждается в том, чтобы время от времени появлялся историк, который оживлял бы историю Рима, чтобы сохранить его неизменное превосходство в образовании интеллигенции; чтобы помешать другим историям узурпировать это превосходство.

Бесполезно питать иллюзии относительно этой задачи: ее выполнение стало гораздо более трудным, чем пятьдесят лет назад; возможно, потому, что массы приобрели большую власть во всех частях европейско-американского мира, и демократия развивается более или менее быстро, вторгаясь повсюду — демократия технического работника, торговца, рабочего, зажиточного бургера, все из которых легко держатся в стороне от культуры, которая сама по себе аристократична. Достижение этого будет становиться все более и более трудным; ибо римские ученые, чувствуя, что новые поколения отдаляются от них, в течение последних двадцати пяти лет стремились найти убежище в тихих монастырях учености, археологии, в скромном собрании нескольких мудрецов, которые добровольно избегают шума мира, Фатальная мысль! Древний Рим должен ежедневно жить в сознании новых социальных классов, ведущих нас вперед; должен излучать свой бессмертный свет на новые миры, которые возникают из глубин современной эпохи, под страхом подвергнуться новому разрушению, более катастрофическому, чем то, которое было вызвано ордой Алариха. В тот день, когда история Рима и его памятники станут всего лишь материалом для эрудиции, который можно будет выставить в музеях рядом с кирпичами дворца Хорсабад, клинописными надписями и статуями ассирийских царей, латинскую цивилизацию постигнет фатальная катастрофа.

Чтобы воспрепятствовать угасанию великого света Рима в мире, продлить на неопределенный срок это идеальное выживание, которое является продолжением его материальной Империи, разрушенной столетия назад, есть только один способ — возобновить исторические исследования Рима и сохранить в неприкосновенности их универсальную ценность, которая составляет часть общей культуры. Это то, что я пытался сделать, стремясь вернуть к римской истории многие умы, отчужденные от нее, отвлеченные столькими заботами, тревогами и текущими вопросами, и выполнить священный долг перед моим отечеством и великими традициями латинской культуры. Если другие истории могут устареть, то это действительно более необходимо, именно потому, что служит воспитанию новых поколений, возрождению римской истории, включению в нее новых фактов, постоянно обнаруживаемых археологическими усилиями, наполнению ее более широким и сильным философским духом, привнесению в нее зрелого мирового опыта, который познается не только изучая, но и проживая.

Я не колеблясь скажу, что каждые полвека среди цивилизованных народов начинается соревнование за поиск новой концепции римской истории, которая, соответствуя изменившимся потребностям, может возродить классические исследования; соревнование, за которым следует не презренный приз, а интеллектуальное влияние, которое народ может оказывать на другие народы посредством этих исследований. Чтобы победить в этом состязании, мы никогда не должны забывать, как это сделали слишком многие из нас за последние тридцать лет, что человек может править миром и преобразовывать его из глубин библиотеки, но только при условии, что он не замурует себя там; что, в то время как физические науки предлагают понять материю, чтобы преобразовать ее, историко-философская дисциплина в конечном итоге воздействует на разум и волю; что философские идеи и

исторические учения - всего лишь семена, запертые сами по себе, если они не попадут на почву универсальной интеллектуальной жизни.

Нет: потемневший от времени мрамор Рима не должен заканчиваться рядом с кирпичами с клинописными надписями или египетскими мумиями в обширных мертвых секциях археологических залов; они должны служить для того, чтобы проложить нашим ногам путь, ведущий в будущее. Поэтому для меня не могло быть ничего более приятного или благодарного после получения приглашения, переданного мне *Коллежем де Франс*, да еще из Южной Америки, чем принять приглашение Первого гражданина Соединенных Штатов посетить этот формирующийся мир. В Париже, этой замечательной столице латинского мира, я имел радость, высшую награду за мой долгий и упорный труд, показать недоверчивым, насколько все еще жива предположительно мертвая история Рима, когда в те незабываемые дни столь космополитичная публика собралась со всех концов города в маленьком простом зале старого и величественного здания. Находясь среди вас, я чувствую, что история Рима живет не только в том интересе, с которым вы слушали эти лекции, но также, даже если частично без ясного осознания, в здешних вещах, в жизни, которую вы ведете, в том, чего вы достигаете. Наследие Рима является для народов Америки в еще большей степени, чем для народов Европы, наследием не чисто художественным и литературным, но политическим и социальным, которое оказывает самое благотворное влияние на вашу историю. В определенном смысле можно сказать, что Америка сегодня в политической большей степени, чем Европа, является истинной наследницей Рима; что новый свет ближе — по очевидному парадоксу — к древнему Риму, чем Европа. Среди наиболее важных фактов, какими бы малозаметными они ни были в истории девятнадцатого века, я бы назвал такой: республика, человеческое государство, рассматриваемое как всеобщее достояние — великое политическое творение Древнего Рима, — возрождается здесь, в Америке, после того как вымерла в Европе. Латинское семя, столько веков пролежавшее погребенным под руинами древнего мира, подобно зернам пшеницы, погребенным в египетских гробницах, перевезенным с другой стороны океана, возшло на земле, открытой Колумбом. Если бы не было Рима; если бы Рим полностью погиб в великой варварской катастрофе; если бы в эпоху Возрождения среди руин древнего мира, вместе с прекрасными греческими статуями и рукописями, не была найдена эта великая политическая идея, сегодня в Северной Америке не было бы Республики. Вместе со словом, вероятно, исчезли бы также идея и вещь; и нет никакой уверенности, что люди смогли бы так легко и успешно заново открыть их своими собственными усилиями.

Я студент, а не льстец. Поэтому я откровенно признаюсь вам, заканчивая эти лекции, что я не принадлежу к тому числу европейцев, которые с наибольшим энтузиазмом восхищаются всем американским. Я думаю, что американцы в целом, как в Северной Америке, так и в Южной, с такой готовностью признают в себе достаточное количество добродетелей, что нам, европейцам, вряд ли нужно помогать им в легком и приятном для всех убеждении, что они стоят на первом месте в мире. Поскольку я происходил из старого общества, имеющего большой исторический опыт, самым ярким впечатлением, произведенным на меня в обеих Америках, было как раз вхождение в общество, обладающее лишь скудным историческим опытом, которое поэтому легко вводит себя в заблуждение, принимая за признаки героической энергии и доказательства окончательного превосходства преходящие преимущества порядка, в основном экономического, которые истекают из особых экономических условий мира.

Одним словом, я не верю, что вы превосходите Европу во многих вещах, как вы думаете; но я признаю превосходство, большое и, по крайней мере, для меня, бесспорное, в политических институтах, с помощью которых вы управляете собой. Республика, которую вы возродили к жизни здесь, на этой новой земле, является истинной политической формой, достойной цивилизованного народа, потому что только она рациональна и пластична; в то время как монархия, форма правления, которая до сих пор правит столь многими частями Европы, представляет собой смесь мистицизма и варварства, которые европейские интересы тщетно пытаются оправдать софизмами, недостойными высокого уровня культуры, которого достиг Континент. Выяснять причины, по которым старая восточная монархия так цепко держится в Европе, все еще угрожая будущему, здесь было бы бесполезно; несомненно то, что, когда вы встречаете любого европейца, кроме француза или швейцарца, вы можете почувствовать себя настолько выше его в политических институтах, насколько римский *цивис* во времена Республики чувствовал себя выше азиатского раба абсолютной монархии. Этим превосходством — никогда не забывайте его! — вы обязаны Риму; за обладание им будьте благодарны городу, который окружил вас такой славой, вдохнув такую упорную жизнь в "*Республику*".